

Глеб Иванович Успенский

# Из деревенского дневника



# **Глеб Иванович Успенский**

## **Из деревенского дневника**

*Текст предоставлен правообладателем.  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=664185](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=664185)*

### **Аннотация**

«...Но вообще для каждой из заинтересованных групп совершенно ясно стало в последние дни, что деревня начала играть значительную роль и что мой карман, мой ум, мой душевный мир – все это как будто находится в самой тесной связи с карманом, умом и душой деревни. Оказалось, что пустота деревенского кармана опустошит и мой; темнота деревенского ума не даст хода и моему уму, довольно-таки просвещенному, а иное направление деревенского духа может парализовать и в одно мгновение уничтожить громадные жертвы и труды, страстно и бескорыстно направленные ко благу всего человечества. ...»

# Содержание

I	4
1	5
2	9
3	19
4	29
5	31
6	35
7	43
8	50
9	53
10	64
11	72
II	75
1	76
2	82
3	89
4	96
5	101
6	105
7	110
8	118
Конец ознакомительного фрагмента.	124

# Глеб Иванович Успенский

## Из деревенского дневника

### I

*Внимание к деревне. – Слепое-Литвино. – Помещичий дом и его владельцы старые и новые. – Барин и мужик. – Волость. – Бумажная точность. – «Без разговоров!» – Денег, денег! – Заработки. – Понравился господам. – Крестьянин Иван Афанасьев. – Бабий заработок.*

Никогда русская деревня и даже просто «деревенская глушь» не пользовалась в такой степени благосклонным вниманием образованного русского общества, как в настоящее время. Одни, убедившиеся в бесплодности своего интеллигентного существования «в одиночку», ищут, или вернее, полагают найти под соломенными крышами недостающее им общество, среди которого и надеются растворить остатки своих умственных и нравственных сил (см. рассказ «Овца без стада»). Другие, напротив, полагают найти под теми же крышами нечто совершенно новое, небывалое, спасительное чуть не для всего человечества, погибающего от эгоистически направленной цивилизации. Третьи интересуются ею просто с эгоистической точки зрения, стремясь доподлинно знать, что именно можно взять у деревни для улучшения своего интеллигентного существования («Малые ребята»). Но вообще для каждой из заинтересованных групп совершенно ясно стало в последние дни, что деревня начала играть значительную роль и что мой карман, мой ум, мой душевный мир – все это как будто находится в самой тесной связи с карманом, умом и душой деревни. Оказалось, что пустота деревенского кармана опустошит и мой; темнота деревенского ума не даст хода и моему уму, довольно-таки просвещенному, а иное направление деревенского духа

может парализовать и в одно мгновение уничтожить громадные жертвы и труды, страстно и бескорыстно направленные ко благу всего человечества. Когда во главе этой удивительной деревенской силы стояла помещичья власть, никто и не думал считать деревенские соломенные крыши за нечто достойное внимания. Нужно было одно: извлекать из этой соломы золото. И золото это являлось – стоило только барину дать приказ бурмистру. Нужно было водворить где-нибудь цивилизацию, умиротворить, смирить, и проч., и проч. – опять-таки стоило приказать, и мужик бегом бежал через моря и реки, через Балканы и Альпы, забирался в Париж, подъезжал к Англии... Все было возможно в ту пору по единому мановению... Но теперь, когда волшебный жезл из рук интеллигентных передан самому мужику, когда он находится не у помещичьего бурмистра, а у народного, волостного суда, – теперь настало время подумать и о деревне, тем более что за полштоф водки волостной суд иной раз может и не пустить жезла в ход, а тем самым неминуемо подвергнуть опасности и карманное и нравственное спокойствие образованного человека. Необходимо поэтому знакомиться с деревней, узнать, что в ней есть, чего она хочет, о чем думает и вообще что она такое.

Нижеследующие очерки ни в каком случае не имеют претензий отвечать обстоятельно на всю массу вопросов, возбуждаемых русской деревней, потому что это действительно только беглые, случайные заметки человека, так же, как

и огромное большинство читателей, незнакомого с деревней и только теперь сознавшего необходимость этого знакомства. Кроме того, случайные наблюдения этих заметок относятся к известной только местности, Новгородской губернии, – к известной деревне, с которыми пришлось пишущему эти строки познакомиться в известное время, именно летом 1877 года. Делать поэтому какие-нибудь общие выводы относительно вообще положения деревни и тем более относительно *народного* духа и мирозозерцания – будет невозможно.

При большем досуге и внимательности к делу деревенька, о которой идет речь, могла бы дать обильный и богатый материал, освещающий многое множество смутных представлений о русской действительности, так как в ней счастливо соединились все нравственные и экономические черты, отличающие наше переходное время: она знакома и с железной дорогой, которая проходит недалеко, и с заработком, благодаря дороге, на чужой стороне, и с барином совершенно нового, коммерческого, даже прямо кулацкого типа (арендатором), словом – знакома с возможностью хлопотать и биться для себя, для улучшения своего положения и в то же время твердо помнить времена крепостного права в лице коммерсанта-барина. Есть тут старые старики, для которых теперешний мужик – распутник и пьяница, которые ропщут и на папироски, и на высокие смазные сапоги, и вообще на все порядки, повторяя при всяком удобном и неудобном случае:

«а отчего? – оттого, что волю дали! страху нету». Есть и молодые, которые как будто чуть-чуть задумываются над вопросом: «да почему же, в самом деле, непременно нужно так много страху?» Есть старухи, которые, заслышав о «некрутчине», впадают в какой-то трагический экстаз, ходят как помешанные, причитая и махая по ветру платком и раздирая вам, постороннему человеку, своим беспредельным горем всю душу. И есть парни, которые не то чтобы рвутся в эту некрутчину, а просто не считают ее таким ужасом, о каком помнит старуха. Знают эти парни, что служба коротка, харч хорош, а уйти... отчего ж и не уйти отсюда?... Словом, измененные экономические и общественные условия в положении мужика, изменившие – или по крайней мере изменяющие его нравственный мир, – могли бы быть наблюдаемы в нашей деревеньке весьма успешно, если бы, повторяю, был досуг, то есть не одно только лето, а год и два, и если бы необходимой внимательности не препятствовала значительная личная отчужденность от деревни.

Запишем поэтому, что можем.



Вид деревеньки самый обыкновенный. Холмистые поля спускаются к речке, не широкой и не глубокой, в которой будто бы в прошлые времена было «страсть сколько» рыбы. Теперь рыба перевелась; изредка попадаетса окунь в четверть величиной да уклейка, занимающаяся съеданием червяков на удочках и потом быстро убегающая. *«Прежде были»* язи, лещи. «Во какие!» – показывают старожилы (те самые, что говорят: «страху мало»), растопыривая руки на аршин. Щуки в прежнее время попадались по три аршина и по два пуда весу. Теперь ничего нет – ни язей, ни щук; плотва иной раз побалуует мужика, а то больше всё раки; да и раки-то не те, что прежде, а маленькие, корявые – «шут их знает, что за раки за такие!» Под впечатлением этих баснословных рассказов о баснословных язях и щуках современный деревенский рыболов может по целым дням мучить себя, тщетно разыскивая по обоим берегам речонки «клёвых мест» и тщетно надеясь на хороший улов: рыбы в самом деле нет; а если и есть, то она почему-то умеет только съедать червяка и уходить. «Видно, и рыба тоже поумнела, – невольно думает современный рыболов: – какого веселого червяка насадил – и то ничего! В прежнее время она бы его так не оставила – эво, как рот-то бы разинула, со всем бы с нутром крючок тащить пришлось, – а тут вот на-ко!.. И червяк ее не веселит».

Веселый, жирный червяк в самом деле напрасно пляшет на крючке, напрасно юлит своим жирным телом, от боли конечно (от этого-то юления его и называют «веселым»): «нет в нонешней рыбе простоты, хитра стала и лукава...» Впрочем, иной раз внезапно, недуманно-негаданно, вдруг в безрыбную речонку забредет в самом деле какое-нибудь чудовище, какой-нибудь необыкновенный язь или какая-нибудь щука аршина в полтора. Откуда являются такие чудовища – решительно никто не знает, и хотя появления их редки, года в два – раз, но зато вполне достаточны, чтобы следующие поколения так же твердо верили в необыкновенные уловы, как верит в них и деревенская старина.

Берега речки кой-где покрыты кустарником, кой-где болотце и песочек, а на дне густая трава, которую большею частью и вытаскивают вместо рыбы мужики, задумавшие побродить (не раздеваясь) с бреднем. В рабочую пору в разных местах речонки мокнут деревянные бороны, перевернутые длинными зубцами в воду. Вообще речонка тиха, ничем не оживлена и молча, потихоньку течет в тихих, молчаливых берегах. Называется эта речонка Слепухой; а деревенька, лежащая по другой ее стороне, называется Слепое-Литвино: тут, на этом самом месте, где стоит деревенька, по рассказам старожилов, ослепла Литва. Шла она несметным полчищем и, дойдя до этого места, вдруг ослепла и дальше не пошла. Через Слепуху перекинут новый, земский мост, и его белые перила, белые новые сваи невольно радуют вас, го-

вора, что Слепое-Литвино не совсем забытая деревня, что кто-то помнит о ней. С середины моста открывается такой вид: направо, на крутом пригорке, среди густого березового парка, виднеется господский дом. Налево, по низменному берегу, виднеется, также из-за березок, красная крыша волостного правления, соединенного с несчастной деревенской «училищей», а подальше, в приветливой зелени березничка, виднеется крылечко кабака. За этой передовой линией построек, обитаемых начальством и интеллигенцией, тянутся жиденькие крестьянские постройки, перемежающиеся плетнями, низенькими, почерневшими крышами амбарчиков и редкими, в двух-трех местах, купами небольших деревьев. Даже и издали трудно отыскать в массе деревянных построек хотя какие-нибудь черты, которые бы могли приветливо подействовать на глаз. «Кое-как», «ничего не поделаешь» и другие положения, выработанные человеком, у которого дела идут плохо, припоминаются даже вам, постороннему человеку, при взгляде на деревеньку. «Кое-как» покрыты крыши, и солома на них придерживается «кое-как» разбросанными на ней жердями; «кое-как» сплетен плетень, «кое-как» держится крыльцо. Даже не приходит и в голову смотреть на это олицетворение «ничего не поделаешь» как на вид или на пейзаж; только взглянешь и думаешь: «как бедно живут-то эти литвиновские мужики!..» Не будь этого нового моста, который говорит, что кто-то думает об этих глухих и бедных местах, тут было бы такому постороннему

деревне человеку, как вы, читатель, как я, нестерпимо грустно и горько сразу, с первого дня по приезде сюда... Унылый, бедный вид деревеньки, эта задумчивая тишина, царящая в ней, этот ничем не привлекающий вашего испорченного разнообразием взора упорный, однообразный и беспрестанный труд, держащий деревеньку на белом свете, – все это, столь неподходящее к вашим испорченным вкусам, производило бы в вас гнетущее ощущение одиночества.

Но вот на ваше счастье мост – и хороший мост, – и уж вам легче. Его правильность и известного рода изящность, старательность постройки и отделки почему-то понятней для вас и веселее, чем унылый вид деревни. Но это еще не все. Пройдя мост с одного конца на другой и приближаясь к крестьянским постройкам, мы, опечаленные серьезно-задумчивою бедностью деревни, с радостью встречаем настоящую мелочную лавку с настоящей вывеской: изображены на ней, по обыкновению, фрукты, виноградные кисти, маленький китаец, а продается деготь, хлеб, кнуты, вожжи, лапти, ситец, двухкопеечные сказки и трехкопеечные папиросы – с одной стороны – это для крестьян, и, с другой, писчая бумага, почтовые марки и папиросы фабрики Петрова – для высшего общества. Лавка эта выступила вперед из ряда крестьянских домов, поместившись на самом бойком месте. Деревня у нее за спиной, направо господский дом, налево волость, кабак, а за волостью, в расстоянии версты – церковь. Кроме этого, мимо нее бежит почтовая дорога на уездный город N.

По воскресным дням лавка эта набита битком; но из двадцати человек, преимущественно женщин, присутствующих в лавке, покупают (купят или нет — это еще неизвестно) никак не больше двух. Остальные только смотрят, любуются красивым видом ситцев, папиросных оберток, трогают товары рукой, прикасаются пальцем. И унылой деревеньке хочется так же чего-нибудь повеселей, покрасивей, как хочется и вам, постороннему в ней человеку. И деревеньку тоже тянет распрямиться иной раз и освободиться на минуту от своей трудовой задумчивости и исполненного серьезной заботы однообразия. Но постороннего, не деревенского человека, человека, долго жившего в городах, эта серьезная трудовая забота, веющая от всей деревенской обстановки, поражает почти испугом. Ему тотчас нужно чего-нибудь полегче, поснисходительней этих серьезных впечатлений; ему хочется куда-нибудь укрыться от них, и уж он наверное, и без всякой надобности, прежде всего сунется в лавку, если она есть, в волость, к «попу», в господский дом... Он рад будет встретить немецкий сюртук, хорошо запряженный тарантас, даже обертку знакомого табаку. Так пугает русского, отторженного от народной жизни человека подлинный вид и смысл обыкновенного деревенского угла.

Вот какова существенная черта производимого деревней впечатления. Эта трусливость перед деревней складывается из внезапной усталости, одолевающей вас (еще только чутьем понимающего и только издали подавляемого) размерами дере-

венского труда), из страха перед вашим бессилием и, к чести вашей, из капельки стыда.

«Легче, легче! – подавленное впечатлениями, вопиет все ваше существо: – чего-нибудь не так просто-правдивого, не так утомительно-ясного, не так кротко и покорно стыдящего вас... Чего-нибудь поразнообразнее, пообильнее красками, чего-нибудь, что бы не так правдиво и сильно действовало на вас и так дерзко не поднимало бы вашей умеющей прилаживаться к обстоятельствам совести».

В ряду таких облегчающих робкую интеллигентную душу пристанищ первое место несомненно занимает помещичий дом. Говорю на этот раз не о том только помещичьем доме, который украшает собою левый берег Слепухи, но о помещичьем доме всех деревенских углов земли русской.

Редкое поистине явление представляют эти рассадники отечественной аристократии. «Чего-чего не было тут в старые годы! Чего-чего не насмотрелись эти стены», – подумается всякому размышляющему о русском житье-бытье, а между тем в десять – пятнадцать лет наидлиннейшие хроники наидревнейших господских домов забываются почти бесследно, не оставляя в окружающих ни единого мало-мальски определенного воспоминания, то есть не оставляя, после своего долголетнего процветания, почти ничего, что бы имело какую-нибудь законность, смысл, соответственный этой законности явления, и соответственную им внешнюю форму. Всматриваясь в длинную историю помещичьего дома,

как нельзя лучше убеждаешься, что в однообразных равнинах русской земли, в однообразнейших, все подводящих под одно, условиях естественных нет возможности вытанцоваться, самостоятельно выделиться из этого однообразия чему-нибудь такому в смысле привилегированности, что бы хоть капельку равнялось в прочности привилегированности старого европейского мира. Простор, то есть в буквальном смысле обилие места для всех, и сознание этого простора, сознание того, что «всем хватит», не дают возможности развиваться в должной мере тому азарту эгоизма, которым должен был жить «благородный» человек. Я знаю, что у меня «может быть» много, что у меня есть это многое; знаю, что со временем оно будет мое, — и я уж вполтину покойнее, апатичнее переношу свое теперешнее затруднительное положение. А это сознание, что всем хватит, всегда жило и живет в крестьянине; оно и теперь помогает крестьянину изо дня в день тянуть свою лямку и позволяет ему быть иной раз очень веселым в самых крутых обстоятельствах. Оно было коротко знакомо и барину, который должен был чувствовать, что только казенное право ограждает его привилегированное положение, удерживает за ним его тысячи десятин и что без этого казенного ограждения решительно нет никаких резонов именно ему стоять выше последнего мужика, так как и этот последний мужик, никого и ничто не стесняя, ни у кого ничего ровнешенько не отнимая, может иметь те же самые тысячи десятин.

Именно у барина-то русского никогда и не было внутренней причины быть жадным, воевать за свое привилегированное положение, потому что у него и врагов-то не было никаких.

В высокой ограде своих казенных прав он сидел один, точно в тюрьме в одиночном заключении, и положительно сходил с ума. Кроме таких радостей, как в самом деле довольно хорошо разработанное служение еде и «греху», – что такое, хотя мало-мальски в привлекательных формах, осталось в назидание потомству даже от периода так называемых «настоящих» бар?.. Из тех отрывочных рассказов о прошлом, которые уцелели в воспоминании старожилов, вы услышите об ужасных зверствах, возводимых на степень удовольствия, об ужасных бесчинствах против слабых и бессильных попов и чиновников, бесчинствах, тоже имевших целью потеху, развлечение, и волей-неволей увидите, что наш феодал не мог выдумать ни удовольствия, ни потехи, ни развлечения, мало-мальски похожих на удовольствия здорового человека. Пороть и наслаждаться этим – надо быть больным; приклеить попу бороду к столу – надо быть пьяным; вывалить станового в дегтю и пуху и потом заплатить ему – затея человека и не трезвого и не умного. Мало того, похоже ли на правду – быть другом человечества, человеком неописанной доброты, «хрустальной душой», и не сделать так, чтобы об этих дорогих качествах человеческой души и мысли хоть единое словечко припомнилось народом, не говоря уже о ре-



альных фактах, которых настоящие, не больные человеколюбцы могли бы, при своем всемогуществе (по крайней мере в своем собственном углу), предъявить несметное множество? Словом, не вдаваясь слишком в подробные воспоминания, касающиеся внутреннего содержания и внешнего облика старобарского житья-бытья, невольно убеждаешься в том, что мозг, ум, сердце плохо и нездорово делали свое дело в этих обширных, когда-то блистательных господских дворцах, и, напротив, что-то напоминающее расслабление мозга, вялость, упадок всех сил, болезненнейшие нервные припадки характеризует собою шумный период боярского житья. Ничего похожего нет на ястребиный образ жизни голодного, но жадного европейского хищника, безжалостно рвавшего куски из чужих рук и утаскивавшего их в свои орлиные гнезда. Это – ястреб. А наш барин – я и не знаю, что такое. Сидит и объедается, сечет, от скуки заводит тяжбу, бьет направо и налево и всем за это платит, «колобродит», в веселые минуты хоронит осетра или опять-таки дерет станового, попа. Еще хуже барин-вольтерьянец, революционер, собирающий оброки, продающий крестьянские деревни на своз. Какому ястребу придет в голову рассуждать о благе цыплят и в то же время хватать их? Ястреб только хватает и ест. Или: – какой голубь будет пожирать своих птенцов, как пожирал их голубь-революционер – барин, торговавший крестьянами? Все это таило в себе неправду, все говорило о недостатке внутренней сильной и резонной причины быть

феодалом, барином. Не было причины стать во враждебные отношения к «черни непросвещенной», так как она и не думала враждовать. Ну как же, из чего, из какого материала выделать свое барство при таких неблагоприятнейших для неравенства условиях?

Слепое-Литвино также, хотя очень и очень смутно, помнит это время «настоящих» господ; но, кроме какого-то утомления при уходе за этими капризными, больными и несчастными людьми, нет никаких прочных воспоминаний об этой знаменитой поре, нет ни прочной злобы на прошлое, нет и доброго о нем слова. Сторож, прослуживший по необходимости лет двадцать пять в сумасшедшем доме, должен был, мне кажется, по окончании этой службы точно так же вспоминать ее, как вспоминает мужик, то есть утомлением от этой возни с людьми, которые не знают, что делают, и бьют его, несчастного, и плюют, и ругают так, зря, без всякой причины, «ни за что».

Но вот, наконец, этот шумный, жирный период настоящего барства кончился, оставив по себе кучи законных и незаконных ртов и наследников, мебель, пропитанную жиром человеческим до того, что к ней нельзя прислониться (непреренно прилипнет либо плечо, либо затылок), облупленные амуры на потолках, амуры и «псишэ»<sup>1</sup> по стенам, громадный процесс в суде и несметную кучу долгов. Разбрелись музыканты, разбрелись повара, разбрелись по свету законные и незаконные рты, убедившись, что надо искать других кусков, так как «на всех» оставшегося нехватит. На весь этот порожденный праздностью, больною фантазией и обжорством люд, в самом деле, приходилось так мало (если разделить поровну), что для каждого рта было гораздо удобнее, ссылаясь на имеющее получиться богатство, занимать у первого ротозея, чем в самом деле получать это богатство в руки. Как сумели извергиваться эти потомки доблестных отцов – очень хорошо рассказывают нам процессы, и мы не будем останавливаться на этом подробно. Неумение делать, неумение думать и бессилие не только победить, но даже и бороться с громадным аппетитом изуродованной плоти – вот вообще

---

<sup>1</sup> ...амуры и «псишэ»... – Амур и Психея – божества из греческой мифологии; здесь имеются в виду картины на сюжеты, связанные с мифами об этих божествах.

характерные черты, наследованные потомками.

Покуда разбрёдался весь этот «обреченный» народ, покуда он пристраивался так или сяк к разным местам и кускам, барский дом стоял один-одинешенек, полегоньку опустошаемый неведомо каким людом и быстро разрушаемый природой. Разрушались гrotы, мостики, монплезиры; отваливались деревянные лиры и венки с карнизов и балконов, и ветер вышибал стекла из итальянских и венецианских рам. Долго стоял в таком виде дом. Наконец где-то последовало какое-то решение, где-то объявлена продажа, – и дом попал в чьи-то новые руки. Началась новая история новых владельцев.

Владелец, следовавший за настоящими господами и барями, всегда почти не настоящий барин, а человек, *добившийся возможности* жить по-барски. Пишущему эти строки удалось видеть довольно характерный экземпляр такого «нового барина». С раннего детства человек этот, происходивший из мещанского семейства, знал нищету и нужду; лет с десяти он уже сидел в кабаке, с пятнадцати – занимал какую-то должность по откупу. По собственному его выражению, он тридцать лет ходил «по горло в грязи», в откупных подвалах, опаивая народ без жалости и снисхождения, отбиваясь взятками от судейских, словом – вращаясь в самом темном омуте самых темных условий русской жизни. Человек этот видал всякие виды: и он «подводил», и его «подводили»; и он упекал, и упекали его. Где кулаком, простым

ударом, колом, где деньгами, где обманом, пронырством, хитростью вывертывался он из всяких положений, затруднений и к сорока годам вышел в люди, то есть стал одеваться по-господски, ездить в коляске по губернскому городу и творить блуд.

Рост, сложение и сила виденного мною субъекта были громадны. Это поистине был исполин, человек, который в сорокаградусные морозы мог править лошадьми без рукавиц, причем руки не только не мерзли, но, напротив, – от них валил пар, как от кипящего самовара. Обильно покрывавшие лицо и руки желто-синие веснушки и подстриженная жесткая, как проволока, рыжая борода, маленькие серые глаза в белых ресницах – всегда выдавали его мужицкую породу, в какие бы костюмы он ни наряжался и в каких бы колясках ни разъезжал. Это действительно и был мужик, попробовавший быть и жить барином. Наблюдения его над русской жизнью были необыкновенно тонки, жестки и непоколебимы. Господ, владеющих «нашим братом», он понимал тонко, выражался зло и метко, как умный мужик. Осмеивая и презирая то, от чего он отбил, – всю эту гадость сорока лет своей жизни, он, делаясь барином, не только не был утомлен жизнью, не только не устал, но, напротив, – вошел в самый аппетит жизни в свое удовольствие, радуясь счастьем положения, в котором можно смело оказать себе: «знать ничего не хочу, живу в свое удовольствие»... «Отцапал» (собственное выражение гиганта) он имение и зажил по-барски... но, увы!

нет у нас особенных форм барской жизни. Ешь, пей, блуди: вот и все, что могли рекомендовать новому барину его предшественники. Как мужик, кулаком выбившийся в люди, он никоим образом не мог развлекаться вольтерьянством, или «пленной мысли раздраженьем»<sup>2</sup>. Что за чепуха! «Из мужиков только-только выбился, да опять в мужики? – ну уж это извините! Ты *мне* подай, а там я знать не хочу...» – сказал бы он всякому, кто бы стал учить его барскому поведению. Земства и прочие общественные обязанности он давно понял в простой форме взноса денег и решительно не имел охоты вожжаться со всем этим. «Слава богу, видали на своем веку... довольно!..» Чего-нибудь *эдакого!*.. хотелось ему, что бы не напоминало прошлого. И прошлое это отозвалось на нем не одним презрением к людскому стаду.

Сознание горького горя этого прошлого всей своей суммой отразилось на нем по-мужицки, по-русски – «запоем». Этой болезнью он раз в год страдал в сильнейшей степени; но об этом после. Задача великана состояла в том, чтобы жить в свое удовольствие, для себя и притом не по-мужицки. «Нет ли чего получше?» Мгновенно идея великана была понята: дом наполнился знатоками не-мужицкого препровождения времени, и в пять лет, по его собственному выражению, он «проел» все имение...

На мой вопрос, каким это образом можно в такое корот-

---

<sup>2</sup> ...пленной мысли раздраженьем» – из стихотворения М Ю. Лермонтова «Не верь себе».

кое время «проесть» такую «прорву» денег? – гигант отвечал:

– Как проедают-то?... Наживать трудно, а проесть, прожить – это, сделайте милость, сколько вам будет угодно.

– Ну как же, как?

– Да вот как, например. Теперь вот от моего дома до губернского города пятьдесят верст считается... так или нет?

– Так.

– Ну вот извольте потрудиться проехать эти пятьдесят верст не три или четыре часа, а примерно недельку или полторы... И при всем том, заметьте, лошади у нас первый сорт – тройки призовые... на эдаких лошадях тридцать верст в час – вот какая езда, а мы едем неделю или две...

– Что же вы делаете?

– Больше ничего, что едем «в свое удовольствие»! Компания нас тут собралась питухов, лучше требовать нельзя, – ну и... И у кабаков, и с бабами, и под горкой, и на лужочке, и на горке, и в кусточках, везде, где полюбится, – остановки, закуски, песни, да по рюмочке, да пошлем за шампанским, и так в продолжение всего времени – глядь – тышчонки четыре-пяток и рассортировал в разные места... Как проедали!?. Захотел только! Раз из Москвы метлу привез... совершенно даже из помойного ведра метла была эта, а спросите, во сколько обошлась, – и ахнешь...

– Зачем же метлу-то?

– Зачем? Фантазия – больше ничего!.. И не припомнишь

всего-то, почему и что... Вступит вот в башку – давай метлу ли, что ли... ну и... Раз тоже на свадьбе у одного богача, на обеде в Тестовском трактире, в Москве, на стол на парадный влез да как тряхонул всем корпусом – на три с половиной тысячи и набил за один мах стекла да хрусталию одного... Фантазия, ничего не поделаешь!

Разговор наш происходил в большой парадной зале. Но, увы! это уже были остатки всякого великолепия и прошлого и нынешнего; гигант уже все проел и добивался продажи объедков, искал случая «всучить» их кому-нибудь, даже отдавал дом в аренду за недорогую цену, в полтораста рублей (это и было причиною нашего знакомства). Парадная зала как нельзя лучше рисовала этих новых «людей своего удовольствия». Весь пол, выкрашенный когда-то масляной краской, был изожжен окурками папирос и сигар, очевидно в изобилии усеивавших пол четырехугольниками, свидетельствовавшими о карточных или питейных столах. К изображениям амуров и псишэ прибавились изображения того же направления, но попроще выражавшие мысль. Это были чуть не лубочные картинки, изображавшие или исключительно голых женщин, или что-нибудь близко касающееся того же предмета: жена застает мужа, целующего кухарку; офицер спрятался за дверь, в которую входит старик, очевидно муж; у кровати видны женские башмачки. Словом, пол и стены говорили, что делали люди, переломавшие в буквальном смысле всю мебель; теперь она не только липла, но ва-



лилась при каждом прикосновении; ни к стулу, ни к столу нельзя было прикоснуться: все расшатано громадным напившимся и наевшимся народом. Рассказывая свои подвиги, великан был скучен и задумчиво смотрел в окно. Снег покрывал глубокими сугробами видневшиеся из окна балкон, почти вырубленный сад и соседние холмы.

– Вот тут был лесок, – говорил по временам гигант как бы сам с собой и в это время разглядывал комнату. – Десять тысяч взял... Проел! Там вот... тридцать... Семь с половиной – вон взял за кусок... ха-арроший березничек!.. Много тоже там оставлено...

– А ведь скучно вам, должно быть, от всего этого? – спросил я.

– Неужто нет? Смерть какая тоска!

– Это теперь; а тогда?

– Да и тогда забирала, признаться, иной раз ух какая меланхолия!.. Больше от нее и кутили-мутили... Подумаешь, подумаешь – все суета!.. Да так-то затоскуешь, так-то запечалишься... Прежде я запоем-то пил со зла. Набьется в душу разного гаду, разного пакостного составу, – эх, идол бы тебя взял, – и рванешь все с корнем, смаху, месяц прогоришь в кипучей смоле – и опять готов, и опять пошел в ход!.. А тут без дела-то тоска, пусто, чистая смерть, слабость, ну не знаю – хуже всякой муки! Ничего на душе нет... и не знаешь, за что прицепиться; не знаешь, как, *с чего запой-то начать*.

И тут рассказал он мне про прием, который он употреб-

лял в такие минуты для того, чтобы «расчать» запой. Не находя в себе ни в чем, ни к чему ни аппетита, ни влечения, он прибегал к такому средству: ехал он обыкновенно для этого в Москву, чтобы не опозориться в губернском или уездном городе, или даже в деревне, и там, встав чем свет, шел в кабак, первый, какой откроется по раннему времени, выбирая самое пьяное из московских мест: Грачовку, Солянку и т. д.<sup>3</sup> В таких местах толпится всегда великое множество оборванного, безночлежного народа, воров, пьяниц и проч. Иные из них целую ночь мерзли на морозе, иные не ели, иные с ума сходят от головной боли и, трясясь, ищут случая опохмелиться. Вот эту-то жажду выпить для тепла, для похмелья и разыскивал великан для того, чтобы можно было «расчать». Войдя в кабак, он садился у двери, предварительно купив штоф водки, и поджидал этих жаждущих... Горький пьяница – первый посетитель кабака: стало быть, ждать приходилось недолго. Всякий такой несчастный, войдя, начинал Христом-богом молить целовальника дать ему выпить «ради Христа». Начиналась сцена, полная истинного ужаса: целовальник отказывал, а несчастный бился, и мучился, и умолял... Эту сцену великан созерцал до тех пор, пока одеревенелое воображение его хоть чуть-чуть начинало понимать мучившую несчастного жажду. Тогда он звал его к себе и давал водки, страстно любуясь той жадностью, с кото-

---

<sup>3</sup> *Грачовка, Солянка* – улицы в старой Москве, на которых помещались самые грязные притоны, публичные дома, кабаки и проч.

рой несет пьяница водку к губам, проливая и боясь пролить, и еще пристальнее наблюдал самую минуту питья и следующее за ним ощущение необыкновенной радости. На чужом примере, на чувстве чужой жажды великан воскрешал в себе самом ощущение этой жажды. Иной раз нужно было извести до шести полуштофов, перепоить десятки пьяниц, чтобы в горле и во всем существе великана проявились вызванные воображением симптомы такой же самой страстной жажды! Так ослаб он от жизни на барскую ногу. Прежде таких возбуждений не требовалось. Старухи пьяные особенно сильно действовали на него, так как мучения их были, по женской слабости, беспредельно сильнее мучения пьяных мужчин. После двух-трех старух у великана захватывало горло, и он принимался «садить» на две, на три недели. В такие минуты он пропивал не более десяти рублей всего-навсего. Мужичьи недуги недорого обходятся. Грабили его в таком виде, убивали и не добивали несчетное число раз; но бог хранил его, и до сих пор он все еще, как говорят, «слава богу».

Женат он в течение своей жизни три раза, причем первая его жена была за ним «за третьим», вторая — за вторым, и только третья была девушка, когда он уж успел быть два раза женатым. От всех этих браков у него были дети; кроме того, у каждой жены его тоже были дети от предшествовавших великану мужей, и все это в высшей степени разнообразное население, включавшее в себя детей полковничьих, чиновничьих, купеческих, поповских и т. д. до бесконечно-

сти, кроме детей, прижитых, между прочим, и мужчинами и дамами этого круга, – все это, благодаря великану, ставшему барином, сгустилось, в цветущие времена житья в свое удовольствие, в старых покоях господского дома, одержимое ненасытной жаждою ничегонеделания и удовольствий. Благодаря широкому распутству великана, многое множество этого неизвестно зачем нарожденного народа навеки погибло, подышав атмосферой ничем не стесняемого скотства, и, разбредшись по лицу земли русской, после того как великан «проел» все свои «вольности» и уголья, – еще более увеличило собой густой слой то наглой, то беспомощной жадности, который и без того довольно густо осел после первого периода жизни *барских хором*.

Не имея с крестьянином коммерческих дел, не имея официальной власти, не покупая или не продавая крестьянину, барин никоим образом не может найти почти ни малейшей связи с крестьянином и, покуда не съест с ним двадцати пудов соли, едва ли может рассчитывать на искренность с его стороны, даже в самом простом, обыкновенном разговоре. У крестьянина прочно сложилось какое-то в самую кровь ввевшееся убеждение, что барин *не понимает ровно ничего*. Не понимает «житейского», не понимает того, что держит человека на земле, что заправляет его жизнью, душой и думой. Барин может купить, потому что у него есть деньги; может продать, потому что имеет товар; может заказать и заплатить за это; — словом, может делать все, что могут сами собой делать деньги. И во время этих операций, вообще во время денежной связи барина с мужиком, могут существовать между тем и другим, повидимому, довольно близкие отношения, могут происходить «понятные» обоим разговоры, хотя и далеко не искренние, никогда не допускающие барина близко к правде своих мыслей и чувств. Но как только барин возмечтал, основываясь на этом денежном знакомстве с народом, продолжать это знакомство так, «просто», «как человек», как продолжает всю жизнь быть знаком мужик с мужиком, — тут конец всякой связи. «Что ж может значить барин

без денег в то время, когда он не заказывает, не покупает и не продает? Нешто он что понимает?»

Прошлая история барина как нельзя лучше укрепляет в воображении крестьянина убеждение в полной внутренней бессодержательности его как человека... Усталость от его неразумных капризов, колобродств и т. д., словом, от всех проявлений больного господского тела и ума, – это утомление уничтожает в крестьянине всякую охоту взглянуть на этот вопрос с какой-нибудь другой стороны, как-нибудь иначе понять барина. Перестав быть заказчиком, покупателем, нанимателем или чиновником, барин делается для мужика *ничем* и с ужасом принужден видеть, что у последнего нет и тени уверенности, что с этим существом можно иметь хотя такие же частные отношения, как и с своим братом-односельчанином. Необходимо дьявольское терпение, продолжительное и настойчивое желание фактически, *на деле* доказать понимание барином простых человеческих отношений, чтобы мужик начал верить, что и в барине сидит такой же человек, как и в нем.

Попробуйте, например, зайти вот в эту крестьянскую кузницу, которая дымится на соседнем пригорке близ дороги. Зайдемте поговорить с крестьянами, посмотреть на работу, на труд, узнать, сколько он дает доходу, и т. д. У низенькой квадратной двери кузницы собралось несколько крестьян. Одни из них ждут своих подков, своих лемешей; другие пришли, так же как и вы, постоять, посмотреть, поговорить. До тех пор покуда мы не приходили, у всех шел и деловой и шутливый разговор: и о работе говорили они, и о податях, и пошутили над молодым парнем, только что женившимся, и пожалели Ивана мельника, у которого такой-то мужик совсем отбил жену. В это время приходим мы с вами. Нам не нужно ни лемешей, ни подков; мы пришли *так*, как и два-три другие крестьянина, стоящие здесь же. Но, увы! с нашим приходом баляканье прекращается: «что вы тут понимаете? это не ваше дело». Пристать к разговору, который только что шел, нам нет возможности. Нам «ничего не нужно» – стало быть, и разговаривать с нами не о чем.

Никогда никому из находящихся в этой кучке не придет в голову, что вам «хочется» или «надо» просто поговорить об обыкновенных житейских вещах; никто и не думает подозревать в вас какой-нибудь интерес к личному делу крестьянки никто и не думает интересоваться вашим лич-

ным барским делом. Что ж с вами делать? «Угостите, барин, кузнецов-то! Право слово!» Другими словами: «Что пришел-то? Хоть полштофа с тебя, шатущего, разгрызть...» Или еще хуже: «Митрофан, представь штучку – барин тебе поднесет! добер барин-то!» – «Уж да-абер!» – хором подтверждают другие присутствующие, явно играющие комедию и решительно не желающие видеть в вас человека. «Барин! Что ж у него в голове? Верно какой-нибудь вздор! Представь ему, Митрофан, штучку – все нам по стаканчику». Не подозревая в вас никаких серьезных желаний, компания непременно «для вас» (если только надеется достигнуть результата в виде водки) начинает глупый скромный разговор, и вы видите, что этот разговор именно для вас, для барина, которого интересует только «разная мерзотина». Ничего подобного никто из них не позволит себе с своим братом-крестьянином, который бы точно так же пришел и сел у двери кузницы на камушке. Потом, со временем, вы добьетесь от них человеческих отношений, если сумеете понадобиться им без заказов и без денег. Но на это надо много времени и труда, а так, с первого раза, без заказа и покупки у вас нет никакой связи. Пошли вы по деревне – это вы за бабами, за девками. Говорить с вами можно, только надеясь на угощение, и только сальности и глупости. Переставая быть заказчиком и покупателем, барин, просто как человек, способен только на пустые желания и на пустые поступки, словом – на что-нибудь такое, что не придет в голову ни одному крещеному



человеку: вот первое впечатление, производимое на мужика барином, когда он подходит к нему «просто так», как «человек к человеку».

Эта черта крестьянского взгляда на барина ужасно горько отозвалась на третьей формации владельцев барского дома, последовавших за проевшим все случайным барином, или, вернее, простым «едоком». Возвращаясь к истории великана, мы должны упомянуть о том, что желание его «всучить» свои объедки какому-нибудь дураку (буквальное выражение) исполнилось как нельзя лучше. Среди нарожденного барским домом народа не все были червонные валеты<sup>4</sup> и рты: были люди и другого типа, которые, не страдая ненасытностью appetitов желудка, не менее сильно страдали умственной жаждой. Именно страдали, болели: трудно быть здоровому, родившись в этой жирной тюрьме. Эти люди – им же несть числа – поняли, что в положении русского барина нету дела, нету жизни; что ее надо искать в труде, вблизи нищеты и невежества. Хорошая народная и именно русская черта русской души, не находившей никаких резонов для своей привилегированности, сказывалась в этом

---

<sup>4</sup> *Червонные валеты* – так назывались члены клуба «червонных валетов», занимавшиеся мошенничествами различного рода с целью вымогательства и других преступлений; уголовный процесс над разоблаченными преступниками происходил в Москве в феврале 1877 года и привлек широкое внимание общественности, так как «героями» его была в основном молодежь, происходившая из дворянской среды. Сам термин взят из романа французского писателя Понсон дю Террайля «Клуб червонных валетов» (1858).

направлении мысли потомков барства. И вот началось движение «господ» в объятия «мужиков». С одним из таких-то людей и познакомился случайно великан в губернском городе, где-то в трактире. Расписал ему свои объедки в человеческом и минералогическом смысле – и всучил... Живет он теперь тихо в Москве с маменькой, старой старухой, и маленькой девочкой от последней жены и бога благодарит, что не погиб. Не та участь постигла барина, не хотевшего быть барином, – участь, постигшая не одного из людей, руководимых таким же нежеланием барствовать и не могших с этим барством разделаться. Да, никто из них не хотел быть барином, но все-таки барином оставался.

Впрочем, интеллигентным людям, стремящимся к деревне, нами будет посвящено несколько особых очерков, где читатель найдет более подробный рассказ о барине едва очерченного теперь типа.

Волостное правление и кабак, лежащие по левую сторону моста, уже не производят такого веселого впечатления, как лавка и господский дом. Вокруг и внутри этих строений царит, особенно в кабаке, мужик, и, вступая в его царство, необходимо позабыть о всяком разнообразии. Впрочем, чтобы переход от легковесных впечатлений господского дома к тяжеловесным впечатлениям деревни не был слишком резок и труден, мы постараемся облегчить его известной постепенностью.

Два писаря волостного правления, то есть один писарь, а другой его помощник, оба парни ражие, молодые, которыми мы начинаем знакомство с мужицкою жизнью деревни, своим наивным – как наивны молодые толстые дворняжки – видом, наверное, произведут на читателя благоприятное впечатление. Посмотрите, с какою беспечною валяются они по лавкам, сытно, до отвала пообедав у учителя (за четыре рубля педагог ухитряется кормить их на убой и еще иметь «пользу»!). Дело происходит в довольно большой комнате волостного присутствия. На стене портрет государя, в простенке между окон, выходящих на большую дорогу, две-три кружки для сбора пожертвований на разные благотворительные учреждения, с печатными при них воззваниями; у одного из окон – стол с пером, бумагами, чернильницей. Солнце

– двухчасовое, жгучее солнце – так и «жарит» в оба окна, наполняя комнату страшной жарой и полчищами мух. Но здоровенных парней это не беспокоит. Один, лежа на узенькой лавке, подставил солнцу спину и только покряхтывал от удовольствия; а другой, на такой же узенькой лавочке, ухитрился залечь на спине, задрав разутые ноги к печному отдушнику. Оба они без сюртуков и без жилетов. Долгое время не происходит никакого разговора, и не слышно ничего, кроме пыхания, выражающего стремление отдуться от тяжкого бремени еды.

– А что, – с расстановкой и полусонно произносит, наконец, писарь (человек, лежащий на спине): – что у вас... в Болтушкине... как насчет этого дела?..

– Насчет товару-то? – ленивейшим тоном переспрашивает помощник (лежащий ничком) и распускает ноги, тоже босые, по обеим сторонам лавки.

– Само собой...

– У нас в Болтушкине – сколько хочешь...

Он потягивается, выгибая спину, как кот.

– Ну?!

– Ну вот, стану я врать. Сколько хочешь, столько и есть...

– Какую угодно?

Помощник, помолчав секунду, дает ответ, так сказать, среднего направления, необычайно лениво говоря:

– А то что же!.. Вот там... разговаривать!.. Это у вас тут всё тридцать, да сорок, да полтинник... У нас в Болтушки-

не этого нет... Шалишь, брат!.. У нас этого баловства нет...  
Знак подал – и готово.

– Какой знак?

– Аль не знаешь? Маленький ребенок, что ли, ты?.. Какой знак? – ну мигнешь, пройдешься мимо, кашлем дашь знать... мало ли есть предметов...

– И готово?

– А то что же еще разговаривать-то?.. Много будешь разговаривать, так это очень для них жирно...

Все это произнесено беспечнейшим жирным хрипом, приближающимся к звукам простуженного горла.

– А кто в Болтушкине писарем?

– Аль разлакомился?.. Хе-е, брат!..

– Хе-хе-хе... Ей-ей, переведусь в Болтушкино!..

– Хе-хе-хе... Ишь ты кот сибирский какой!.. Поди переведись... Утрут тебе нос-то там... Хе-хе-хе... Я шукну одно слово, поглядим, ухватишь ли...

– Отчего ж я-то не ухвачу? Ты хватал, а я нет?

– Я другое дело... я знаю сноровку.

– И я знаю.

– Нет, не знаешь...

– Ан вот знаю.

– Ну хорошо. Отвечай, как надо поступать, чтобы всякую заинтересовать?

– Деревенскую или благородную?..

– Все одно, сплошь...

Писарь молчит, взволнованный разрешением этой задачи.

– И не знаешь... а я знаю!

Помощник при этом садится.

– Ну как же, чем?..

– Чем! – так я тебе и сказал...

– Нет, пожалуйста, скажи!..

Писарь тоже вскакивает с лавки.

– Вот дурака нашел! стану я секреты открывать...

– И всех?..

– Всех до единой... Хоть графиня, хоть что...

Писарь бросается к помощнику и начинает его умолять.

– Ну, голубчик, ну, Ваня... скажи... я тебе...

– Нечего, нечего вас баловать!

Писарь принимается тормошить помощника, и оба они начинают бороться посреди комнаты. Долго шуршат их босые ноги по деревянному, покрытому высушенной солнцем грязью полу; долго раздается то там, то сям грохот отскочившей лавки или стола, на которые налетают эти юные силачи. В борьбе они забыли разговор, растрепались, раскраснелись – любо смотреть на парней. Ломая друг друга то на одну, то на другую сторону, они только покряхтывают, не теряя веселого расположения духа. Ткнувший кулаком в брюхо, писарь отскакивает в сторону, потирая больное место, – и бой оканчивается.

– Я, брат, – говорит помощник самоуверенно: – и не таких свертывал в комок...

– Эка! в живот-то пхнул...

– И ты пхай! Чего же? Ну-ко, пхни-ко меня... На! Отскочу я или нет?

– Давай!

– На.

Помощник выпячивается вперед.

– Ну пхай!

Писарь действует ехидно, из-под низу, так что и помощник отлетает в сторону.

– Нешто так можно, свинья ты этакая!

– Я ненарошно...

– Дубина этакая! – ненарошно...

– Ну прости, пожалуйста... Нешто я...

– Чорт этакой... Дай-ко я тебя так гвоздану, так ты у меня кубарем к чорту на рога улетишь... Ты пхай в живот – нешто так можно?... Вот куда пхай!..

– Ну давай...

– Ну на!.. Да смотри, идол, башку сверну...

На этот раз три удара кулаком, направленные без ехидства в указанное место, не производят на помощника никакого впечатления.

– Ну бей, бей! – приговаривает он.

– Да! – говорит писарь. – Вспучил живот-то!..

– Вспучил! Ну-ка вспучь ты, погляжу я... Ну-ка, становись...

– Ну дуй!

Писарь раздувает живот елико возможно, но от одного удара в самом деле летит кубарем...

– Вот те вспучил! – приговаривает помощник.

– Свинья этакая... как хватил!..

– А! свинья!

– Чистая свинья!..

– Нет, брат, тебе до меня далеко!..

– Дубина!..

– Вот те и дубина!

– Нет, вот как! – оживленно заговорил писарь: – согласен так – давай?

– Как?

– А вот как... Я возьму палку...

– А я тебя ею тресну по башке...

Начинается хохот. В это время отворяется дверь, и показывается фигура учителя с удочкой.

– Что вы тут гогочете, как жеребцы в конюшне?

Писаря едва могут унять.

– Куда это вы, Митрофан Петрович?

– Да вот хочу перед чаем немножечко посидеть. Авось к ужину ушицу наберу... Будет баловаться-то, бери у Петьки уду – пойдем...

– Пойдем, пожалуй, попытаем, отчего же! – произносит лениво помощник, к которому относятся эти слова.

– И я, – прибавляет писарь: – от нечего делать...

Одевают сапоги, запасаются табаком, спичками и отправ-



ляются рыть червей. Спустя десять минут всех троих, окруженных ребятишками, помогающими надевать червей, можно видеть на берегу реки. Каждый из ловцов выбрал по тихому местечку в кустах и терпеливо следил за поплавком. Тихо в кустах, тиха вода, и чудно хорош и свеж воздух. Ни одной тревожной, беспокойной мысли нет ни в ком, кроме сладкой тревоги в ожидании минуты, когда рыба потянет крючок книзу.

– И-ва-а-а-ныч!.. – откуда-то далеко, по верхам густого кустарника, доносятся звуки визгливого, очевидно женского голоса.

– Эй! – кричит в кустах помощник: – Скворцов! слышишь, что ль?

– Чего?

– Как чего? Слышишь, зовут!..

– Где зовут-то? Только было клевать начала...

– Бу-у-ма-аага-а!

– Бумага! слышишь, что ль... Пойдем!

Помощник и писарь бросают удочки, так однакож, что поплавки остаются на воде, и уходят.

– Скорей, – кричит им учитель. – Тут окунья – страсть!..

– Сейчас!

– Стадами ходит!..

– Приде-ом!

Но на этот раз им не пришлось скоро возвратиться назад: в правлении ожидал их нарочный из уездного города, при-

везший большой пакет с надписью «экстренно-важное». В пакете было распоряжение о немедленном призыве ополчения<sup>5</sup>. (Записки относятся к лету 1877 года.)

– Ого! – сказали писарь и помощник, прочитав содержащиеся в конверте бумаги.

Приходилось немедленно садиться за работу.

---

<sup>5</sup> ...о *немедленном призыве*... – Здесь, а также в последующих упоминаниях Дуная, Шипки, Карса и т. д. речь идет о фактах, связанных с русско-турецкой войной 1877–1878 годов.

Уж не думает ли читатель, что я, вслед за изображением волостной идиллии, изображу теперь сцену, в которой баловники-писаря окажутся манкирующими своими обязанностями? Помня прошлые времена, читателю может представиться, что, несмотря на серьезность и важность полученной бумаги, писаря, увлекшиеся рыбной ловлей, спокойно положат ее под сукно, а сами отправятся опять на берег и, сказав себе насчет бумаги – «успеется», будут преспокойно продолжать свои невинные удовольствия. Нет, не приходится теперь говорить о сельских и волостных властях ничего подобного. Времена стали не те, и точность в исполнении своих писчебумажных обязанностей в настоящее время составляет самую видную черту деревенской жизни. Не расспрашивая и не задумываясь, «почему», «зачем», писаря часа два скрипели перьями по бумаге, адресуя к сельским старостам приказания явиться в волость таким-то и таким-то крестьянам, вынудившим рекрутские жребии в таком-то году. Не расспрашивая и не думая расспрашивать о причине спешной посылки за старшиной, рассыльный гнал свою лошадь в соседнюю деревню, где жил старшина. И старшина в свою очередь, услышавши, что пришла бумага, немедленно оделся и прибыл в волость. Точно так же, «без всяких разговоров», два рассыльных поехали развозить по деревням, для

передачи сельским старостам, написанные писарями предписания, а сельские старосты в тот же вечер объявили призываемым о том, чтобы завтра они шли в волость, о том, чтобы такие-то и такие-то мужики приготовили подводы. И все это буквально «без разговоров» о причине, без расспросов о том, куда и зачем погонят. Плачут, конечно, женщины, матери, невесты; сапожник Петр тоже жалеет, что приходится бросить мастерство и за что ни попало продать инструмент; но ни у кого ни на единую минуту не мелькнет вопрос: зачем и куда? – раз приказание пришло из волости. На все эти вопросы, зачем гонят и куда гонят, не ответит никто – ни сельский староста, ни волостной старшина, ни писарь. Да и никто из них не спросит, или, вернее, отвык спрашивать и разбирать то, что приходит сюда в деревню в виде приказывающей, но никогда ничего не объясняющей бумаги.

Я три месяца жил в деревне, в то время как наши войска переходили Дунай, дрались, умирали, тонули, покоряли и покорялись. Три месяца вся читающая городская Россия уже жила тревожными интересами войны, и в течение таких-то трех месяцев я ни от кого, не исключая писарей, учителя, даже иерея, не слышал здесь ни единого слова о том, что делается на белом свете. Газет никто никаких не получает, а в город или на станцию никто не ездил: огороды, косьба, словом – хозяйство. «Собрать рекрутов призыва такого-то года...» «Произвести приемку лошадей, выбранных тогда-то и тогда-то» – вот что доходит в деревню от самых крупных

исторических событий, и, кроме этих официальных требований, вовсе ничего не говорящих о значении переживаемой минуты, – ничего, ровно ничего и никому неизвестно, и ровно ниоткуда не приходит в деревню ничего такого, что бы показало значение этого призыва или покупки казною лошади в общей картине совершающихся событий. Человек, который через неделю, через две будет защищать Шипку или Каре или освобождать Болгарию<sup>6</sup>, уходя из села, по совести может жалеть только о том, что сапожные инструменты пришлось отдать за бесценок и что не скоро опять заведешь эти инструменты; но ни о Шипке, ни о Болгарии, ни о причине, требующей его на защиту кого-то, – ничего этого ему неизвестно, никто об этом ему не скажет ни единого слова, а главное – он сам *отвык* расспрашивать об этом и узнавать.

Я бы сказал большую неправду, если бы стал утверждать, что в этом «нерассуждении» народа скрывается, положим в данном случае, охота идти в бой и детски-чистое желание постоять за правое дело. Нет этого ничего. Никто не знает – зачем, в чем дело, но всякий беспрекословно идет потому, что привык идти, когда ему скажут: «иди»; привык платить, когда скажут: «плати», и совершенно отвык от «разговоров» на тему – куда? зачем? и почему? так как идея большого или маленького явления, совершающегося в общей жизни государ-

---

<sup>6</sup> ...освобождать Болгарию... – Победа русской армии в русско-турецкой войне принесла свободу, хотя и неполную, болгарскому народу, боровшемуся за свою национальную независимость и освобождение от турецкого гнета.

ства, никогда не доходила до деревни. Сюда являются только какие-то дребезги, если можно так выразиться, этой идеи, не дающие о ней никакого понятия. Не только об общем ходе политической жизни, в данную минуту переживаемой всей страной, деревня не имеет никакого понятия – она никогда не знает даже о причинах, влияющих прямо на ее экономическое положение, на ее карман.

Посмотрите, в самом деле, – много ли требует его *собственного рассудка* тот широкий круг общественной, государственной службы, которую несет крестьянин, и вы увидите, что в этом отношении он не может играть никакой роли. Он может распределить между своими односельцами цифру взимаемых с деревни денег, но самая цифра эта приходит уж готовая – «из города». Вычислено, что с Слепого-Литвина приходится получить 1082 руб. 3/4 коп., и Слепое-Литвино разбивает эту цифру на количество душ. И так во всем. А всего этого куда как много проходит ежедневно чрез деревню, без всякой возможности с какой-нибудь стороны найти кончик нитки, по которой можно бы было добраться до источника. Изволь тут развиваться, понимать и думать!

Таких-то вот общественных обязанностей деревня имеет, правду говоря, бесчисленное множество. Их разнообразие и несвязность одного требования с другим хотя и отбили охоту у крестьян от общих взглядов и рассуждений, но занимают в крестьянском обиходе громадное и главное место. Каким-то тяжелым клубом свернулись все разнообразные отрасли об-

щественной службы в сознании крестьянина, и, не распутывая этого клубка (так как распутать его почти невозможно), крестьянин определил его одним словом – «деньги». Вся куча повелительных наклонений низвергается в деревенскую глушь в виде простого требования денег и вообще каких-нибудь материальных расходов, но денег, денег – главным образом... Всякая, самая благороднейшая мысль, направленная на общую пользу, откуда бы она ни шла, дойдя до деревни, превращается в простое требование денег. Проекты «оздоровления», «образования», «поднятия народной нравственности», «оживления народа», словом – всякая *благая* мысль, как только начала приводиться в исполнение, непременно начинается в каком-нибудь Слепом-Литвине прямо со «взносов». В Петербурге, в губернском городе, в уездном – идут разговоры, проекты, доказательства, прения; слышны разные, бесспорно умные слова: «развитие», «улучшение», а в Слепом-Литвине, во имя этих прекрасных проектов и слов, происходит только *раскладка*. Из таких слов, как «образование», «развитие», «улучшение», в Слепом-Литвине, неведомо каким образом, образуются совершенно другие и всегда грустные слова: «по гривеннику», «по двугривенному», «по полтине». И все эти гривенники и полтинники вносятся «без всяких разговоров», а если и не вносятся в должном количестве, то все-таки каждый, старается заплатить, чувствуя, что за ним есть недоимка.

Обведя вокруг Москвы круг радиусом верст в четыре-

ста, мы получим местность, в которой положение крестьянина и направление его мысли в общих чертах определится стремлением «добыть денег», только добыть денег – больше ничего. К этому направлению крестьянской мысли начало присоединяться плохо определяемое, но тяжело чувствуемое крестьянином желание – уйти куда-нибудь, желание как-нибудь полегче добывать то, что теперь добывается с таким трудом. И это стремление уйти из сухих и жестких условий крестьянской среды объясняется все тою же необходимостью добывать все больше и больше денег. В самом деле, никогда крестьянину не приходилось так много платить наличными деньгами, как теперь. Платить хлебом, тальками<sup>7</sup>, курами, поросятами, как он в старые годы платил помещику, который все это мог сбыть оптом в губернский город или в Москву, – теперь не приходится: ни кур, ни холста, ни муки не возьмет ни одно волостное правление; нужны чистые деньги, кредитные билеты, и вот этих-то чистых денег и неоткуда взять крестьянину, настоящему деревенскому мужику. Он чувствует, что платить ему «надо»: об этом никаких разговоров и сомнений нет; но платить нечем. Вышло так, что в настоящую минуту нет крестьянского двора, по крайней мере в Слепом-Литвине, о котором главным образом и идет речь, который бы не платил за двух – никак не меньше – душ. Семь человек ратников, ушедших в ополчение, составляют вновь добавочный платеж за четырнадцать душ, раскладывающий-

---

<sup>7</sup> Тальки – мотки пряжи, льняных ниток.



ся не более как на пятьдесят человек работников-мужчин. К покрову непременно необходимо представить эти деньги; нет сомнения, что недоимка будет громадная (на шестидесяти дворах Слепого-Литвина ееросло уже 8000 руб.); но слепинские мужики, не зная, сколько придется выработать (тут тоже тьма крошечная), все-таки будут биться, стараться добыть деньги... Откуда и как же они их добудут?

На этот вопрос всякий слепинский мужик может дать вам только такой ответ:

– Откуда!.. Ведь господь милостив, батюшка... Человек всю жизнь бьется – все ничего, а вдруг «и из палки выстрелит»!

То есть вдруг, неведомо откуда и как, налетит на человека полтинник, рубль – и спасет его от беды.

Здесь кстати сказать о самой последней формации господского дома. Несмотря на то, что настоящий, колобродящий и капризничающий барин прошел, что прошел барин пожирающий и барин гуманнычающий, {См. рассказ «Непорванные связи»}.} только теперь, когда в барском доме поселился просто немецкий кулак Клейн, барский дом стал заслуживать в глазах крестьянина внимание и даже уважение... Да! В доме живет просто кулак, а крестьянин начинает видеть в нем нечто высшее, так как здесь – единственное место в деревне, откуда можно хотя изредка, но все-таки получать чистые деньги... Отцом и благодетелем становится этот какой-то Адольф Иванов, содержавший в Петербурге дом терпимости. Все знают это, но все-таки уважают Адольфа Иваныча, и уважают не только потому, что он дает хлеб, давая работу, а и потому, что он сумел выбиться, выйти в люди, в помещики, тогда как был такой же мужик, как и все. Это уж уважение интеллигентности, понятной крестьянину, поставленному в необходимость выше всего почитать рубль серебром. Что Адольф Иванов этот нажил деньги нечистым путем – за то он сам и ответит пред богом: это его дело; а главное – умел нажить. О его высших качествах ума свидетельствует также и то, что он не капризничает без толку, не продает добра, не колобродит с канавами и дренажами, а про-

сто обирает, где только возможно, экономно и умно, запрягая этих же самых крестьян в труднейшие работы, которые стоили бы больших денег, если бы Адольф Иваныч не был умен и не сумел бы обыграть мужиков на водке, словно на картах. Решительно ни один крестьянин не может, то есть буквально не в состоянии не уважать этого Адольфа Иваныча как ум, как талант, так как у каждого крестьянина на плечах лежит та же самая тяжкая задача – «добыть денег», которую Адольф Иваныч так блистательно разрешил. Есть между слепинскими мужиками просто влюбленные в последовательность и неумолимую логику, с которой Адольф Иваныч преследует свои цели. Вот пример: у соседней помещицы стала пропадать мука из амбара. Она приказала караулить своему приказчику; приказчик укараулил какого-то мужика, царапнул его камнем и привел к барыне. Нужно прибавить, что приказчик – человек тоже «энергический» и тоже «последовательный».

Пойманный мужик стал просить помилования, и барыня простила. Последовательный приказчик немедленно попросил расчета.

Я видел его, когда, по получении расчета, он отправлялся к Адольфу Иванычу просить места. Рассказав историю с вором, он прибавил: «Что ж это такое? Нешто можно так поступать? Опосля этого они (то есть собственные же его односельцы) и всё будут таскать да в ногах валяться... Нет, у Адольф Иваныча этого нет: уж у него, брат, раз что сказано –

свято! Сказал «бей!» – уж бей, постоит за тебя до последнего слова; хоть к мировому, хоть в сенат – уж не отступится от своего... А это что ж такое?..»

Итак, не отступайся от «своего», гони «свою» линию до последнего предела, наживай где и как можно, ответ один – богу!.. Вот в каких формах начинают выясняться преимущества умного человека перед глупым.

– Чистый дурак или чистая дура, – скажут вам о том или другом помещике или помещице. – Так надо сказать – бала-лайка бесструнная.

– Отчего так?

– Да как же, помилуйте! кабы ежели бы он (или она) *свою пользу* понимал, нешто бы он стал так-то?.. А то судите сами...

И затем рассказывается история, из которой видно, что человек своей пользы не понимает.

– И есть дурак! как же не дурак-то?

Пожив в деревне и ознакомившись с неоспоримою важностью рубля серебром, начинаешь соглашаться с мнением относительно людей, не понимающих своей пользы.

Возвращусь, однако, к разговору о средствах и путях, какими может быть добыта слепинским крестьянином кредитная бумажка. Словами «всю жизнь бьешься, а вдруг из палки выстрелит» опытный в этом деле крестьянин совершенно верно определяет полнейшую случайность в возможности приобретения рублей. И в самом деле, даже слепинским мужикам, деревня которых лежит на большой почтовой дороге и в десяти верстах от станции железной дороги, даже и таким, относительно сказать, благоприятно поставленным мужикам почти невозможно определить, откуда именно грянет выстрел рублем, из какой палки.

В ряду таких случайных заработков слепинского мужика первое место все-таки занимает заработок, даваемый барином, на этот раз барином шальным на «новые деньги», деньги железнодорожные, случайные, пьяные. Отвоевав в Питере концессию, схватив куш и просто-напросто «объевшись» купленных столичных утех, яств и питей, такой новый случайный барин чувствует утробную жажду «воздуха», «снегу», «черного хлеба», вообще деревни; и вот уже несколько лет сряду, начиная с половины или с конца октября, в Слепое-Литвино стали наезжать эти «господа» на охоту.

Каждый убитый такими охотниками заяц, по рассказам слепинских мужиков, обходится господам не менее как в

двадцать рублей серебром – цифра баснословная, сумасшедшая, не имеющая сравнения с цифрами никаких заработков, требующих того же промежутка времени, что и приезд господ. Благодаря этим охотам в крестьянских домах Слепого-Литвина то и дело встречаешь пустые бутылки от шампанского, от рейнвейна и т. д. Такая черта господских наездов в деревню сулит еще множество посторонних заработков, влечет за собой другую серию услуг, также всегда щедро оплачиваемых. Явные и для всех видимые следы благосостояния в некоторых крестьянских семьях, начавшегося именно благодаря этим случайным господским наездам, заставляют всю деревню поголовно ждать этих наездов с нетерпением. Но вот беда: чтобы наезд этот был так же выгоден, как он оказался выгодным для «умелых», надо уметь приметить и поймать в массе наезжающих вместе с господами прихотей и капризов – такую прихоть, такой каприз, удовлетворяя который можно рассчитывать на верную выручку. В этом вся штука: узнать человека, распознать, на что он «ходит», «ловится», и потом уже «бить в эту точку». Тут, во время этих наездов, производится двойная охота: господа охотятся за зайцами, выслеживают волков и лисиц, а мужики охотятся за господами и выслеживают их капризы и прихоти. Трудна эта, надо сказать правду, ух как трудна эта охота крестьянина за барином! Выслеживает его вся деревня, от мала до велика; каждому нужно найти свой кончик нитки и крепко держаться за него, а между тем никому неизвестна вообще конструк-

ция господских внутренностей; неизвестно, как, откуда и каким путем пойдет каприз, с которого боку схватиться. Все это темно, покрыто мраком неизвестности. Правда, в общих чертах крестьяне знают, что из барина выйдет, если он не настоящий охотник, что-нибудь веселое и капризное, необъяснимое; но кто именно из этой толпы настоящий охотник, кто только бахвал, бабник, любитель скоромных разговоров – это еще неизвестно. И вот тут-то и требуется страшная работа ума, к несчастью решительно не поддерживаемая более или менее обстоятельным знакомством с аппетитами, управляющими вообще господским образом жизни. И попрежнему приходится полагаться на случай, на выстрел из пня.

– Вон Михайло Петров... Тот чем господам понравился? А попался ему, братец ты мой, купец с Калашниковой пристани<sup>8</sup>... Ну только очень этот купец был сурьезен!.. Так сурьезен, что это даже ужаси! Думал, думал Михайло-то Петров, что тут с эстим сурьезным купцом делать... И так не выходит, и в эту сторону тоже не берет... А богат купец-то, отойти от него «так» – обидно! Ну, думает Михайла, что будет! – и больше ничего, что стал ему угождать... Ничего не просит, чтобы там на водочку или что, а так стал вроде как раб бессловесный... И вперед-то его в сугроб забьют, по шею провалится: «не ходите, говорит, ваше сиятельство, глыбоко тут, не в это место идете»... И ножки-то ему обчистит, веточку приподымет, то есть всеми способами...

---

<sup>8</sup> Калашникова пристань – торговая пристань в Петербурге.

И ни-ни-ни насчет чтобы награды, ни боже мой! Расточил он вокруг купца – этого самого почтения и благолепия видимо-невидимо; услуживает ему, и благодарит, и напередки приглашает, и хвалит – расхваливает, а денег не просит... Что ж ты думаешь, пронял ведь!

– Прронял?!

– Пробрал, братец ты мой, в самый корень!.. И что ж ты думаешь? – И всего-то в сурьезном купце и было товару, что одна глупость... Почитай его да хвали – и все!.. И преспокойно совсем с лапочками возьмешь!.. Вот, поди ты, узнай их! А уж какой был сурьезный, боже мой! Мы думали уж, и подходу к нему нету, точно какой, например, столб деревянный; а он, братец ты мой, больше ничего что балобан<sup>9</sup>: хвали его да угождай – и все!.. С тех пор Михайло-то и пошел в ход... И дом оправил, и лошадей тройка – все, слава богу, пошло. Теперича как сурьезный купец едет – уж Михайло без шапки бежит за тройкой верст пять... И купец-то, братец ты мой, никого, кроме Михайлы, не зовет... Уж наши пробовали было, да нет! – «Михайлу, говорит, давай!..» Поди ты вот...

– Нет, братцы, как я снова влопался было с этими с господами! – начинает речь новое лицо из слепинских мужиков.

Разговор происходил на бревне, где собрались в праздник посидеть слепинские обыватели. Бревно лежит близ реки, у моста; место здесь просторное, веселое, видно далеко.

---

<sup>9</sup> Балабан (тат.) – жеребец; здесь в смысле: болван, дурак.



– Так было втесался, так это – ах!.. Попался мне тоже хароший «теленек». Утрафил я ему тоже, вот как и Михайло, в почтение... Что угодишь, что похвалишь, глядь – гривенник да двугривенный. Вижу я такое удовольствие – попер в эвтот бок. «Уж барин, этаких господ, надо так сказать, и не было и не видано...» Расписываю его так-то, да и махони: «Какой, говорю, это барин? Не барин это, а бог!..»

– Охо-хо!.. – загоготали слушатели: – эк ты его как вздыбил... ха-ха-ха!..

– Передал, брат! – заметил старый старик.

– Ровно через крышу перебросил, – прибавил другой. – Ну что ж он-то?

– Как, братцы мои, взбодрил я его эдаким-то манером – и что только случилось с барином, не ведаю! Покраснел весь, ровно рак, и уж принялся же он меня пушить, на чем только свет белый стоит! До того же все молчал, а тут как пошел, как пошел!.. «И холоп, и подлец, и пошел прочь!» и, боже только милостивый, чего-чего не наговорил... Вижу – шабаш! Просолил барина начисто!..

– Просолил, это уж верно!

– Стою, молчу, ничего не могу в толк взять, а вижу, братцы мои, – понял... «Тебе, такому-сякому, двугривеннички надобны?.. ты из-за гривенника собаку дохлую готов целовать и богу на нее молиться?..»

– А-а-а... понял!

– То-то – понял, братцы мои!.. Слушаю я так-то, вижу,

плохо; а жаль барина-то... Думаю, каким теперича манером мне его оборотить?.. И что ж, ребята? Ведь оборотил!..

– Ну? – единодушно возопило все облепленное народом бревно.

– Перед истинным богом, оборотил!.. Перво-наперво дал я волю: звони, мол, во все!.. Что уж, вижу – ничего не поделаешь.

– Уж тут что! Чего уж тут поделать!

– Думаю, ребята: дуй, ваше благородие; может быть, господь нам и поспособствует...

– Ха-ха-ха!..

– Лупи, мол, не жалей кубышки... Распечатал он меня, надо сказать прямо, вполне. Места живого не оставил... За-молчал. «Пошел вон!» Я и ушел, а сам думаю: нет, шалишь! Ушел и он к Адольфу Ивановичу в покои – обедать с прочими господами... Я остался у крыльца с лошадьми; думаю, уж как-нибудь надо выбираться из бучила... Думал, думал и надумал. Часа через два этак места – откушали, выходят... Выходит народу сразу человек десять... Перекинулся я тут на грубость. Подхожу к моему, говорю: «За что ты меня, барин, говорю, обидел – я к тебе всей душой...» – «Пошел прочь!» Договорить не дал. Я к господам; «Вот, говорю, господа, обидел меня ваш канпанион: всю дорогу я его одобрял, а он меня что ни на есть худыми словами обругал!..» Господа сейчас: «Что такое, что такое?!..» Я рассказал, как было, да и говорю: «Ежели, говорю, их сиятельству не по нраву, что я, то есть,

их уболаговторяю всячески, так не угодно ли, мол, пушай они мне положат хошь пять рублей серебром, и тогда, заместо того, я ихнее благородие обругаю... Ежели им это лучше по сердцу».

Компания, заседающая на бревне, помирает со смеху.

«Сколько, говорю, угодно, хошь два дня буду ругать их – у нас на это хватит...» Двинул я так-то – покатались со смеху мои господа. «А умеешь ругаться? хорошо умеешь?» – «Сколько вам угодно». Хохочут, помирают. Тут один из них выскочил – толстоморденький этакий, ба-альшой тоже мешок петербургский, генерал полный: «Валяй, говорит, меня, мерзавец этакий! Посмотрим, говорит, точно ли ты мастер!» – «Извольте, говорю, ваше сиятельство!» Сел в мой тарантас еще с одним, надо быть, генералом: «Делай!» говорит. Ну я и принялся!.. Так всю дорогу, братцы мои, до самой станции, уж как только я его ни поливал, то есть и так и этак... Все десять верст я его садил всячески; то есть уж хуже не надо, – грохочет!.. Зальется, зальется, а я-то ему: «ах ты, барабанная палка, ах ты...» Ну, то есть все горло у меня пересохло, осип, покуда до станции-то доехал. «Ловко, говорит, молодец!» Выкинул-таки, ребята, синюю бумагу<sup>10</sup>... Право слово, выкинул. С тех пор, как чуть что: «Где Куприян?» Сейчас меня... С тех-то пор я маленько и того... Дай ему бог здоровья! Ха-ар-роший человек!

– И кажинный раз – ругай?

---

<sup>10</sup> ...синюю бумагу... – так назывались денежные ассигнации в пять рублей.

– Эко ты!.. Поди-ко, обругай его так-то!.. В каком духе человек. Иной раз он тебя и в волости выдерет за какое-нибудь слово... Так он тебе и дался ругать! Авось не дурак. Главная причина только, что с ругательств с этих я ему пондравился... вот в чем расчет.

– Пондравиться-то хитро!.. А уж раз тебя барин признал, уж тут как не удержаться... Гляди только в оба – твое будет.

«Пондравиться» приезжающим господам – первая забота слепинских мужиков.

– И чем же, братцы мои, я ему пондравился? – удивляясь неисповедимым путям промысла, рассказывает один из слепинских счастливцев: – Больше ничего, что сказал правду!

– Ну?

– Перед богом!.. Повел их Адольф Иваныч по старому месту; то есть вчера – будем так говорить – по этим местам с своими приятелями Адольф-то Иваныч ходил, а нониче и господ по тем же местам повел. Думал, думал я: всем, мол, объявлю дело начисто. Думаю, жалковато мне Адольфа-то Иваныча конфузить, – а ну как да и выгорит на мое счастье от этих слов? Да с господом и грохнул: «Что ж вы это, говорю, Адольф Иваныч, по старым-то местам водите? Ведь, говорю, мы вчерашнего числа сами зверя здесь распугали; нешто, говорю, так можно с господами поступать?...» Тут он на меня, а господа за меня: «Правду ли ты говоришь?» – «Провалиться скрозь землю! вот извольте поглядеть, как в эфтом месте наломано, как тут натоптано». Поглядели: «так!» С тех пор

без меня ни-ни. Даже и останавливаются У меня и ночуют: к Адольф Иванычу ни ногой. Нарочно посылают ко мне с известием: «едем, мол; станови охоту». С тех пор вот... А из-за чего? Только что вот правду сказал... Поди вот!..

– А мне, ребятаушки, попался сокол, так окромя этого самого ничего и знать не знаем.

– Товару?

– Тоись только одно и одно... Как приедет, уж это знай: целую ночь не спать. Под окнами стучим, выкликаем – со-блаз! А добер!.. Ха-арроший человек. Дай бог ему здоровья. Что-то вот прошлую зиму не был, не будет ли нынешнюю... Я было ему хорошую штучку припас.

– О?

– Право слово.

– А ведь грех это!

– Братец ты мой! Мы и так, и без этого все во грехе. Опять же всякий богу даст ответ сам. Нешто я обманом или что?.. сама готова – видишь вот. Это, брат, дело тоже темное, кто больше ответит: она, а может, и барин.

– А может, и ты!

– Что ж поделаешь-то!.. Спросят – так и мы дадим ответ.

Говорится это в буквальном смысле. Говорящий это так и понимает, что на том свете он объяснит богу все подробно, и тогда наверное окажется, что вины его нету. Надежда, что бог простит за все это, живет в мужике, поднимающемся из-за копейки на всякие «нелегкие». И надо полагать, что

господь в самом деле простит слепинским мужикам их даже, повидимому, тяжкие грехи.

Заработок, доставляемый господскими наездами, самый значительный по размерам денег, получаемых мужиками. Правда, заработок этот сопряжен с необыкновенными трудностями, требующими всей силы умственного напряжения со стороны охотящихся за господами мужиков, преисполнен невероятных, трудно постижимых и бесчисленных случайностей. Но зато тот, кому удалось овладеть полем битвы, может смело считаться счастливым: в какую-нибудь неделю, в течение которой продолжается охота, умный, ловкий человек одними «наводками» сумеет нажить столько, сколько в обыкновенное время не только деревенский мужик, но и деревенский специалист – кузнец, портной, сапожник – не наживет, сидя над работой целые месяцы. Правда также, что такой заработок довольно-таки сквернит человека, и иной раз бывает положительно противно смотреть на иного счастливого и слушать его радостные рассказы о том, как и чем он «поправился»; но зато в результате всех этих гадостей являются деньги – а это главное.

Все другие заработки, доступные слепинскому мужику, точно так же случайные, не так хитры, как заработок на господских капризах, но зато и не имеют тех благодетельных результатов. Разжиться, поправиться с них – нет почти никакой возможности, и иной раз, глядя на такой заработок, решительно не понимаешь, из-за чего бьется человек, если

не принимать в расчет уверенности этого, повидимому, напрасно бьющегося человека, что иной раз и «из палки выстрелит».

В Слепом-Литвине живет крестьянин Иван Афанасьев – живой образец мужика, поставленного в необходимость бросаться из стороны в сторону, чтобы где-нибудь и как-нибудь захватить в свои руки этот проклятый рубль серебром. Иван Афанасьев – редкий экземпляр «крестьянина» в полном смысле этого слова, то есть человека, который неразрывно связан с землею – и умом и сердцем. Земля, по его понятию, – истинная кормилица, источник радостей, горестей, счастья и несчастья, всех его молитв и благодарностей к богу... Земледельческий труд, земледельческие заботы и радости способны были бы наполнить собою весь внутренний мир Ивана Афанасьева, не давая возможности и подумывать о том, чтобы можно было променять земледельческий труд на что-нибудь другое, на какой-нибудь другой, более выгодный труд. Иван Афанасьев – не влюблен в землю, как, может быть, покажется читателю из вышеприведенных слов моих об этом человеке; нет, он связан с ней, с землей, и со всем, что переживает она в течение года, связан, как муж с женой, даже теснее, потому что они, в самом деле, живут почти как одно целое. Вместе с тем Иван Афанасьев и «не прикован» к земле, нет: тем-то и дорог земледельческий труд, что отношения между человеком и этой землей, этим трудом – не насильственные, что связь рождается чистая, из чи-



стого, ясно видимого добра, которое делает земля человеку, убежденному без всякого насилия в том, что за это даваемое землею добро надобно угодить и ей, надо похлопотать и за нее. На таких чистых, совестливых началах держится и весь обиход подлинной, неиспорченной крестьянской семьи, и она бы была истинно и беспримерно прекрасна, если бы могла развивать эти начала, то есть свободный, непринужденный союз, основанный на непоколебимом сознании, что добро добывается добром. Но, увы! несмотря на то, что Иван Афанасьев и его кормилица-земля исполняют свое дело совестливо до последней степени, пришли времена, которые как будто даже и внимания не желают обращать ни на труды Ивана Афанасьева, ни на его отношения к земле и вовсе не ценят ни чистоты этих отношений, ни того, что на этих отношениях держится все русское крестьянство, вся русская сила. «Денег подавай!» – вопиют эти времена и больше ничего знать не хотят. «Как же я брошу землю, помилуйте, сделайте милость? – возражает Иван Афанасьев: – ну пойду я на заработок; а как же земля-то останется? Ведь мы землей всю жизнь живем». Иван Афанасьев – такой истинный земледелец, истинный «крестьянин», что самый лучший заработок не в силах был бы заглушить в нем тоски по земле, по тому разнообразию явлений, которыми окружен труд земледельца, связывающий его душу и мысль и с небом, и с землею, и с солнцем красным, и с зорями ясными; с выюгами, дождями, метелями, морозами, со всем созданием божьим, со всеми

чудесами этого божьего создания...

«Денег подавай!» – вопиют новые времена – и, что поде-лаешь, Иван Афанасьев начинает «биться» из-за денег...

– Пошла одно время в наших местах, – рассказывает Иван Афанасьев: – пошла в ход тряпка. Стали наезжать покупщи-ки; окромя как тряпку, ничего больше и не спрашивают. На-думал и я этим самым делом заняться. Лошадка у меня бы-ла хоть и плохонькая и тоща, а ноги таскала, сказать нель-зя. Померекали об эфтом деле с женой, и та склоняется на тряпку, полагает так, что польза будет. Порешили мы занять деньги на начатие у жениного дяди; человек был он пожилой, от всех отделившись, один со старухой, и тоже этой тряп-кой орудовал. Хорошо. Вот поехали мы к дяде – за двадцать за пять верст жил, – вымолили у него десять рублей, вес-ной чтоб отдать. Накупил он мне на эти десять рублей сит-цев, пряников, колечек, серег – свой сундучок дал и говорит: «Ну! теперь ступай с богом!» – «Дяденька, говорю, да как же я торговать-то буду. Что на что менять? Сколько за что давать?» – «Я этому, говорит, всю зиму учился, и ты учись. Слушайся, что бабы будут говорить, – они тебя научат ско-ро...» Нечего делать. Поехал я с товаром по деревням... Еду по деревням, кричу: «Трепья, трепья!...» Выбегают с трепьем бабы, обступили меня; пошла торговля... На платки, на си-тец, на серьги. На деньги не торговал, ни копейки не было... Вот хорошо. Поторговал я так-то в одной деревне, в другой, в третьей; выезжаю из третьей-то – дай, думаю, сочтусь, сколь-

ко будет моих барышей, наторговал ли хошь с гривенник-то; а уж дело шло к вечеру, и пора домой было ехать. Стал я считать, вижу – плохо дело: товар мой я весь почесть растерял, роздал, а трепья у меня и наполовину против товару не потянет... Прямо сказать, в первый же день начисто я проторговался... Тут я и понял дядины слова, что, мол, бабы-то меня выучат... И уж точно – выучили, век не забуду. Еду я домой – ест меня тоска. Приехал – уж совсем темно стало, огни уж везде, а мне хоть бы и глаза не глядели ни на что: товар растерял, а ничего не привез. Остались у меня одни пряники. (И пряников тоже дядя купил – бабы, девки любят; только у меня что-то бабы пряников, не брали: надо быть, видели, что я с простиной торгую.) Остались только у меня эти самые пряники, да и те все в мешке переломались. Скучно мне, особенно неприятно было. Жена видит, что дело мое неладно, молчит. Сижу так-то, думаю, как мне с этим трепьем быть? Смотрю, идут парни с посиделок. «Мы, говорят, слышали от твоей бабы, что пряники, что ли-то, у тебя есть?» – «Есть», говорю. «Давай!» Отпустил. Узнали на деревне, что у меня пряники, повалил ко мне народ, и бабы, и парни, и девки: лавочки в ту пору у нас еще не было. Не больше как часа в полтора все мои пряники я и расторговал. Ничего что изломанные и все такое – только подавай... Все начисто до последней порошок расторговал; стал считать – вижу: польза, и не маленькая!.. Вот, думаю, господь мне послал милость свою, хоть мало-мальски убытки мои покрою (теперича вся забота

— хоть бы с долгами-то расплатиться, а уж куда торговать!..) Наутро, чем свет, только что белеть начало, погнал я свою кобылку на станцию — за пряниками. Вечером — опять торговля, и опять всё разобрали: польза идет хорошая. Наутро опять на станцию, опять вечером торгую. И так пошло дело чудесно, что ежели бы мне эдак-то проторговать недели с две — и долги бы заплатил, да и пользы бы имел по крайности рубля на три... Ну, только не вышло. Как проведали наши слепинские, что Иван, мол, Афанасьев на пряниках расторгиваться стал, и повалили тоже на станцию закупать. Развелось у нас в ту пору пряников больше, чем хлеба или снегу на дворе... И с этих пор все мы остались в чистом убытке. Я-то по крайности хоть мало-мальски на отдачу сбил деньжонок, а другие-прочие так и остались с пряниками. С тех пор я уж торговлей не занимаюсь. Ни-ни, сохрани бог... Как отдал дяде заемные, так у меня словно гора с плеч свалилась: бог с ней и с торговлей, не наше это, крестьянское, дело!..

Из таких эпизодов соткана вся жизнь Ивана Афанасьева в течение последних десяти лет. Не умея, как истинный крестьянин, ни хитрить, ни лукавить, ни обманывать (земледельческий труд ничему такому не учит), Иван Афанасьев прогорает на всех предприятиях, цель которых добыть деньги. Раз его заманила какая-то родственница, жившая в кормилицах в Петербурге, и сулила место дворника. Иван Афанасьев соблазнился, истратил все деньги, какие были, на машину и приехал в Петербург. Место ему, в самом деле, на-

шлось; но странное дело: больше, чем малого ребенка, его испугала эта бездонная пропасть «чужого» народа, которым кишит столица. Он испугался этой голой работы из-за денег; ему трудно было жить без «своих», трудно работать без их поддержки. В тот день, когда нужно было идти на место, Иван Афанасьев затосковал, как школьник, которому не хочется покинуть родительский дом. Кормилица-родственница, которая раздобыла ему место и у которой он останавливался в Петербурге, напрасно гнала его идти на место, напрасно торопила... Иван Афанасьев заскучал еще пуще от этих понуканий. Когда же, наконец, он почувствовался и пошел, то, придя на место, нашел, что оно занято другим. Триста верст Иван Афанасьев шел до деревни пешком, питаясь Христовым именем, и, наконец, кое-как доплелся до двора.

– Тут-то я уж отдох!.. Думаю, бог с вами совсем, с местами... Я на одном хлебе просижу – по крайности дома!.. А что намучился, так это одному богу известно...

После каждой из таких неудач и отлучек из дому Иван Афанасьев возвращался к родному гнезду всегда с необычайною детскою радостью, несмотря на то, что, возвращаясь, был еще бедней, чем тогда, когда уходил. Он рад корке хлеба, лишь бы она была своя, домашняя, лишь бы ему быть в понятной ему, знакомой, любимой среде...

«Денег! денег!» – вопиет новейшее время, и не умеющий их доставать Иван Афанасьев вновь ловится на каком-нибудь денежном плане. Сманивают его на землекопную рабо-

ту, рыть канал близ Ладожского озера, дают десять рублей вперед, обещают поить, кормить. Нечего делать, идет Иван Афанасьев и – глядишь – через полгода плетется домой без копейки, и без здоровья, и без одежды... Оказывается, что спать ему приходилось в снегу, что кормили его падалью, что обсчитывали без зазрения совести, что многое множество перемерло от болезней рабочего народа и зарыто кое-где... Насмотревшись и настрадавшись, Иван Афанасьев рад, что выручил паспорт, и ушел куда глаза глядят. И уж как рад дому-то, как рад своей соломенной крыше, печке, этому жидкому, кислому «своему» квасу!.. Как ни изнурят, ни измучают его, но свои места, а главное – возвращение «к крестьянству», то есть земледельческому труду, вновь восстанавливает все его нравственные силы, уничтожает на его лице следы болезни, горя, негодования, – и вновь это лицо глядит спокойно, благородно и приветливо...

Но деревенские дела идут таким путем, что Ивану Афанасьеву никоим образом не придется остаться дома. Он уж и теперь поговаривает:

– Ежели бы хоть на пять рублей в месяц, то есть верных, какое местечко было, – кажется, сейчас бы пошел. Право слово!

Это-то именно и грустно.

Хуже всего в этой случайности заработков то, что они разрушают общность деревенских интересов, деревенский «мир». Такие заработки никоим образом не могут считать-

ся мирскими; каждый, кому удалось ухватить, ухватил сам, своим умом и для себя, и невольно тянет в свою сторону. При таком ходе дел та правдивость имущественных отношений, которою держится мир благодаря земледельческому труду, нарушается неравенством то там, то сям прибавляющихся и вполне чуждых земле средств. Там, где заработок мало-мальски хорош, там, где он дает больше денег, пропадает даже и охота жить земледельческим трудом, тянуть эту крестьянскую лямку, не дающую ни единой копейки денег, которые именно и нужны. Является прямое желание уйти и от мира, и от деревни, и от земли, отплачиваясь от всего этого деньгами.

Кстати два слова об одном «бабьем заработке». С некоторого времени слепинские крестьянки получили возможность брать питомцев воспитательного дома на вскормление, так как районы, в которые отдавались дети воспитательными домами, постоянно увеличивались: теперь район петербургский уж сошелся границею с московским. Через каждые четыре месяца каждая кормилица получает десять рублей, или, всего-навсего, в год тридцать рублей. Но хотя этот заработок и определен, он лучше всего доказывает, до какой степени крестьянину нужны деньги: за эти тридцать рублей, за три красненькие бумажки, большею частью прямо поступающие в волостное правление, крестьянское семейство платит своими трудами и хлопотами и тратою времени не менее как в пять раз более того, что получает. Напрасно полагают, что из смертности детей деревенские люди делают доходную статью; ничего этого нет: дети мрут, правда, как мухи, особливо летом, но не от дурного ухода, не от худого умысла, а от незнания, от небрежности врачей или от бедности самих крестьян. Если бы не эти несчастные три бумажки красных, поверьте, мало бы нашлось охотников переносить муку ухода за «казенным» ребенком, ухода, обставленного бесчисленным множеством формальностей, которыми знающие их люди очень легко могут пользоваться в ущерб этим



десяти рублям.

По Николаевской железной дороге едет старуха-баба и держит на коленях мешок. Дело происходит в третьем классе, летом 1877 года, в жгучий июльский день.

– Далеко ли, бабушка? – спрашивает ее мещанин-сосед.

– Да вот (она назвала станцию)... лекарь там наш живет...

– Какой такой ваш лекарь?

– А наш, питомницкий...

– Что ж, ты захворала, что ли, али так?

– Нету, миленький, не захворала... Я бы легче помереть, не то что хворать согласна была, ничем...

Старуха заплакала и шопотом произнесла:

– Погляди-кось, что везу-то...

Осматриваясь с осторожностью по сторонам, она открыла мешок, и мещанин, к неопisanному ужасу своему, нашел в нем три детские трупa, завернутые в тряпки.

– Господи помилуй! Что ж это такое?..

– То-то, горюшко-то!.. Не хоронят, вишь, без записки от доктора, а доктор-то от нас – эво где... С гробом идти – кондуктор не пустит, нанимай особый вагон: вот и таскаю в мешке...

– Ах-ах-ах!.. Крещенные?

– Как же, соколик, крещенные... все крещенные... Помирают, друг ты мой, один за одним!.. А все от молока. Киснет молоко-то: что будешь делать, кабы у нас погреба были, ледники – ну так! А то киснет – да и шабаш! а они с кислого-то и

мрут... И денег-то не дадут, и свои-то на разъезды изведешь; а что мученья на душу примешь – и язык не поворачивается сказать. Что я намучилась-то с эстими с мертвенькими-то!..

– Что ж так, ты-то одна орудуешь?

– Да больно, друг ты мой, накладно каждой кормитке самой ехать... Я еду, один билет плачу; вот они мне и складывают на билет-то... Кабы не старость моя горькая да не сиротство...

– А потом назад от доктора-то?

– Вестимо, назад.

Старуха плакала, а мещанин качал головой.

Вот какие сценки случаются среди скромного и трудного заработка крестьянки не больше как в тридцать рублей в год. Уж, стало быть, крестьянскому дому деньги нужны «дозарезу».

## II

*Без газет. – Улица. – «Деревенское обозрение». – Опыт деревенской газеты. – Подати – подати! – Понукатели. – Упорщики и неплательщики. – Смерть мальчика. – Приезд доктора. – Учитель. – Лошадиная холка и красильщик Петр. – Деревенская тайна.*

Вот уже четвертые сутки, как я не получаю с почтовой станции ни книг, ни газет, ни журналов! Столичному жителю, столичному читателю никогда не понять, что за жестокое мучение должен в подобных случаях испытывать такой же самый столичный житель, сидящий почему-нибудь в деревне, в русской деревенской глуши! Отвыкнув от понимания сущности и форм деревенской жизни, далекий, благодаря этим формам, даже от мысли находить между деревней и столицей какую-нибудь связь, такой человек (живет ли он на даче или только что благоприобрел тихий деревенский уголок в потомственное владение) не может обойтись без газет. Они необходимы ему, как необходимы пузыри для человека, боящегося плавать по глубокой и широкой реке. Что делать, если эти пузыри лопнут? Если два-три-четыре дня нет известий ни с театра войны, ни из сфер правительственных, словом — нет ничего, чем столичный житель привык интересоваться ежедневно, — в обоих случаях гибель неминуемая! По обоим берегам реки, среди которой он гибнет, видны толпы народа; но никто не поможет ему. Одни работают, не видят его гибели, не слышат его воплей. Другие и видят и слышат, но ничего сделать не могут: ни лодок нет, ни пловцов. Погибай среди бела дня, во цвете лет, на глазах толпы людей! Та же самая история происходит и в случаях, когда по ка-

ким-нибудь, всегда неведомым причинам из рук ваших исчезает газетный лист... «Что в Плевне?»<sup>11</sup> Что в Карее? Что в Александринке?»<sup>12</sup> – вызывает погибающий – и ниоткуда нет ответа! Ни лавочник, ни батюшка, ни волостной старшина, ни тем паче обыватель деревни, крестьянин, никто не ответит ни на один вопрос... Все они «рады бы радостью» помочь вам, но не могут, потому что у них *свои* дела, *свои* заботы...

– Были вы на станции, Иван Иванович? – вопиете вы к лавочнику.

– Только сейчас вернулся...

– И не стыдно вам не зайти на почту, не взять газет?..

– Из ума вон!.. Совсем из ума вон!.. Да всё с этими раками...

– Какими раками?

– Да раков отправляли в Питер, пять тысяч, так целый божий день бился как собака... Подите-ко, отведайте, каково с нашими с первоначальниками-то дорожными!.. Тут не до газет!..

Отвечая на ваши расспросы, лавочник норовит уйти к амбару и нетерпеливо вертит в руках ключ: ему нужно там что-то гораздо более важное, чем то, о чем вы его спрашиваете. Очень хорошо вы видите нетерпение, с которым он от-

---

<sup>11</sup> Плевна – турецкая крепость на территории Болгарии; Плевна русскими войсками осаждалась особенно долго и была взята 28 ноября 1877 года.

<sup>12</sup> Александринка – драматический театр в Петербурге; ныне – Ленинградский академический театр драмы им. А. С. Пушкина.

вечает на ваши расспросы; но утопающий хватается за соломинку, и вам нет никакой возможности отпустить его на волю...

– Не слыхали ли по крайней мере чего-нибудь?..

– Нет... что-то бытто не слышно. Расшибли, говорят!..

– Кого? Где расшибли?

– Да болтали там, на станции, наши бытто расшибли... что-то... Муки, говорят, благовестили у турок очень до-вольно...

– Да где? Кого кто расшиб-то?..

– А уж не могу вам в точности... слышно, что сорок бытто тысяч... Не то муки, не то в плен... али как... Уж точно не могу вам... Я сейчас! – вдруг вырываясь из неловкого положения, в которое вы поставили его своими расспросами, и проворно убегая в сторону, уж издали кричит вам лавочник. – Я сию минутую, только что вот насчет солонины... как бы не попортилась... дух дала... с-сию минутую!

Но, уж будьте уверены, вам не дожждаться его возвращения; у него там в погребе всепоглощающий интерес: солонина дала дух, а ведь ее посолено пятнадцать пудов! Продать ее или повременить, не выменять ли на жеребенка у Тарасова или двинуть в казармы? – обо всем этом надо подумать, и подумать много... Какие тут газеты!..

У лавочника – солонина, у батюшки – хлопоты с уборкой, благо удались хорошие дни, хлопоты с розыском рабочих... Словом, у всякого деревенского жителя есть нечто бо-

лее важное, более спешное, чем все эти турки, Плевны, газеты. Беспомощность вашего положения именно тем и ужасна, что вы не можете не понимать, как в самом деле важна эта солонина одному, уборка другому, и, стало быть, погибая, не имеете права негодовать на то, что вас не спасли. Рассыльный, который, получая от волостного правления три рубля в месяц на своих харчах, должен ежедневно ходить на почтовую станцию, оставил вас на четыре дня (а может оставить и на четыре недели) без газет, то есть без дыхания и воздуха, оставил потому, что ему навернулась работа: сосед-дьякон перевозит избу и платит деньгами по полтора рубля в день. Зная хоть чуть-чуть цену деньгам, ни у кого, даже у волостного начальства, не подымется рука на этого старика, не исполняющего своих обязанностей. Осенью, которая уж почти на дворе, ему надо платить подати, нужны деньги, а газеты – «успеется»!

И вот вы идете ко дну. С гладкой поверхности политических, литературных, правительственных, русских и иностранных и всяких иных известий вы, лишенные газетных пузырей, идете ко дну неподкрашенной, ненапечатанной русской действительности. Бесцветные, но крепкие и цепкие водоросли, покрывающие это дно в изобилии, начинают опутывать вас со всех сторон, не дают двинуть ни рукой, ни ногой... «Солонина дала дух», «продешевил с овсом», «испортил шкуру», «передал три копейки», «легче помереть, чем на сорок на пять копеек соглашусь» – все эти подлинные и

наущнейшие интересы самого дна русской жизни опутывают, душат непривычного столичного жителя.

В первые дни моего пребывания в деревне такие минуты, когда неаккуратность рассыльного или какая-нибудь иная случайность не давала мне возможности своевременно иметь газету, журнал, — такие минуты были минутами истинного мучения. Доходило дело до того, что я, как манне небесной, рад был всякому печатному лоскуту, садился к стене и с удовольствием перечитывал газеты, которыми были оклеены стены обитаемого мною дома... Так велика была моя разорванность с интересами деревни, так грубо относился я к ежедневным заботам и нуждам окружающей меня среды, руководствуясь в этой грубости только тем, что эти интересы и ежедневные заботы являются перед моими глазами не в тех формах, к каким я привык и в каких желал бы их видеть. Время и довольно настойчивая неаккуратность рассыльного, по мере разгара деревенских работ все чаще и продолжительнее оставлявшего меня без пузырей, понемногу и, как мне кажется, довольно основательно исцелили меня от этой нетерпимости сначала к непривлекательной сухой форме деревенского быта, а потом и к не менее непривычной для меня самой сущности этой неприбранной, не разложенной по газетным рубрикам жизни. Перечитав все обклеенные газетами стены и пережив мучительные минуты, когда уж ровно нечего было читать, когда нигде не находилось ни одного печатного клочка, я невольно стал задумываться над тем



в высшей степени неловким положением, которое я всякий раз испытывал, покончив с газетным листом и выйдя на деревенскую улицу.

Обыкновенно, очутившись после газетного листа на деревенской улице, некоторое время ровно ничего не понимаешь. В газете – отчет о рефератах по народному образованию, о поощрении торговли и промышленности, довольно ловко уясненные вопросы о том, чем нам быть, что мы будем и куда идем. И вот, начитавшись всего этого, то есть всевозможных взглядов, мнений и мероприятий, касающихся русского народа, обсудив их, согласившись с одним, не согласившись с другим, составив свои собственные теории и взгляды, так несомненно касающиеся всего русского, я неожиданно теряюсь, даже забываю все мои и чужие взгляды и теории, как только вхожу в самую средину этого народа... Что за тайна? Для какого же народа все это печатается и пишется и о каком таком народе размышляю я сам, если этот народ своими солонинами, шкурами и прочими непостижимыми для меня интересами выбивает из моей головы и заботы о лучшей системе народного обучения и твердую уверенность в нашей исторической миссии среди славянства, словом – все, что я, живя в деревне, должен искусственно поддерживать в себе газетой?

Размышляя на эту тему, я очень скоро убедился, что вся беда разъясняется самым простым манером, и именно тем, что люди высшего развития и общества, органами которых

служат газеты, делающие все, без сомнения, для народа, не дают себе труда обратиться именно к мнению того, о ком идет речь и о ком идут все эти хлопоты. Реферат о народном образовании прочитывается в ученом обществе, принимается, одобряется — и делу конец. Как осуществится предлагаемая желающим народного блага референтом мера в среде самого народа — никто не спрашивает об этом. Столица, а стало быть, и столичная газета не принимает во внимание того самого народного материала, над которым они производят свои опыты улучшений, усовершенствований и вообще всяких благодеяний. Ни в одной газете нет обстоятельного, хотя бы раз в год появляющегося «деревенского обозрения», которое обращало бы внимание на участь, постигшую то или другое дарованное столицею народу благодеяние, и показало бы, в каком виде благодеяние это добралось до деревни. Ничего подобного мне не случалось нигде видеть или читать: деревня просто благодетельствуется так-таки «без всяких разговоров»; и вот почему деревенская действительность ставит в такое неловкое положение всех, самым специальным и тщательным образом разрешивших у себя дома, хотя бы и в самом благороднейшем смысле, всевозможные касающиеся народа вопросы: чем ему быть, что ему надо, какая у него задача и т. д.

Мало-помалу мысль о правах деревни в решении вопросов, касающихся ее собственных нужд и забот, стала вытеснять из моего газетного сознания решения этих деревенских

народных вопросов, придуманные не деревней. Почему – стало приходить мне в голову – в газетных решениях вопросов народной жизни не играет никакой роли ни эта солонина, из-за которой человек забывает войну и Болгарию; ни эти раки, ни вообще все интересы, задачи, заботы, которыми живет и которыми держится на свете деревня? Почему она безропотно должна принимать всевозможные решения относительно того, чем ей быть? Почему она сама не имеет права сказать – что ей нужно? И долго ли, наконец, она не будет знать, что такое задумывают для нее чужие люди, хотя и люди высшего развития?..

Да, решил я под влиянием этих мыслей: – необходим настоящий мужицкий орган, орган деревенской жизни, без иностранных известий, без театральных и литературных фельетонов, орган не курьезов и смехоты, а настоящего положения деревенского кармана, деревенского ума, сердца, желаний, нужд, надежд. Такой орган осветил бы тьму кромешную русской жизни, внес бы свет в темную комнату, где приходится ходить ощупью, путаться, теряться, спотыкаться, словом – не знать, где что и кто?..

В первый же раз как рассыльный оставил меня без газет на целую неделю, я, чтобы убить время, принялся за составление программы и первого номера ежедневного периодического издания, посвященного деревне и мужику. Я ни на минуту не сомневался, что дело это легкое, стоит только приняться за работу поприлежнее. Но, увы, опыт разубедил ме-

ня в этой легкости. Дело оказалось необыкновенно трудным, главным образом потому, что я за образец взял себе программу обыкновенных столичных газет, и тут мне пришлось убедиться, что ни один из отделов столичной газеты не пригоден для газеты мужицкой. Чтобы достойно подражать органам высшего развития и высшего общества, я должен был просто лгать всякий вздор, сочиняя передовые статьи, в других же отделах должен был отсекал от того и другого факта особенные, только деревне свойственные привески, чтобы факт этот влез в ту или другую рубрику. Наконец некоторые факты решительно не влезали в тот отдел, к которому они подходили по внешнему виду. Столичные газеты, не претендующие на то, что их забывают тотчас по прочтении и ни в каком случае не будут помнить на следующее утро, могут позволить себе крошить русскую и иностранную жизнь как им угодно: столичная публика все потребит. А с деревенской делать этого не приходится: мужицкий орган – насущное и настоящее дело; в противном случае зачем и затевать затею.

Чтобы слова мои о трудности задачи не были бездоказательными, приведу пример: состоялось распоряжение о возвращении призванных ратников-одиночек. Куда я должен девать это известие? В столичных газетах оно занимает две строчки в отделе правительственных известий и четыре в хронике, где сказано о единодушном восторге: так в столичной газете. В мужицкой – должно быть совсем иначе; и как ни странно для столичного читателя, а это известие я должен

поместить в отделе «недоимок», потому что:

– Здравствуй, Петр! Воротили тебя?

– Как же-с!

– Что же, рад ты? Рады твои?

– Чему радоваться-то?

– Как чему? Пошел бы, убили бы...

– А тут-то что?

– Как? а тут ты дома...

– Дома-то дома, да что я делать-то буду?.. Думали, *совсем* угонят, заложились совсем, сорок целковых стали проводы. А теперь и денег нет, да лишний рот... да в долгу все... Теперь подати... Чем отдашь-то? – денег-то ведь нет!

Или в каком из соответствующих столичным газетам отделов должен напечатать я следующее:

«Сельскому старосте Петру Михайлову. – Приказываю я тебе собрать с мужиков – которые положены за порубку с семи душ – по шести с четвертаком, то чтобы непременно к богоотцы Акимыанны ты собрал, чтобы Аким Ивановичу непременно был представлен взыск в день ангела. Поручаю тебе с большим старанием предписываю я чтоб собрать в течение того времени. Волостной старшина Полуптичкин».

Что это такое? Внутреннее ли просто известие, правительственное ли распоряжение, или это годится в отдел хроники, как прибавление к известию об именинах Аким Иваныча? Но, кроме этого голого известия о собрании штрафа и о том, что старшина хочет сделать подарок в день ангела по-

терпевшему «непременному», – кроме этого, я не знаю, как мне помирить с этим радушием старшины его полное к этому Аким Иванычу презрение. Этот же старшина – поговорите с ним об Аким Иваныче – скажет вам, что человек этот кулак и проныра, что при наделе он обманул крестьян, что крестьянский дрянной надел записал по первому разряду, а свои отличные земли – по третьему и налог платит по третьему. На какие такие рубрики могу я разбить этот факт, взятый во всей совокупности? Чтобы не запутывать читателя, я прямо удивлю его, сказав, что записка старшины должна быть, вместе с упомянутым выше деревенским привеском (о том, что Аким Иваныч – кулак), помещена в отделе *«народного просвещения»* и даже, как это ни покажется странным, под особым названием: *«Следы системы классического образования в деревне»*.

В видах образования культурных людей вводится классическая система образования<sup>13</sup>. Предполагаются культурные столпы, расставленные в разных весях<sup>14</sup> земли русской и влияющие благотворным образом на массу, влияющие своей внутренней, нравственной высотой, заставляющие чувствовать массу внутреннее превосходство такого человека и

---

<sup>13</sup> *Классическая система образования.* – В результате реакционного устава 1871 года были упразднены реальные гимназии и оставлены только классические гимназии; в них главнейшими предметами были признаны древние языки, тогда как количество часов на уроки истории, литературы сокращено, а преподавание естествознания упразднялось совсем.

<sup>14</sup> *Веси* (старослав.) – сёла; здесь в смысле: населенные пункты.

таким образом облагораживаться. Раз система признана достойной — ограничиваться школой, медленным приготовлением новых людей, невозможно. Предписания о необходимости уважения ко всякому благородству, наверное, следуют из столиц в губернские города, из губернских — в уездные, оттуда — в волости, в сельские общества. И вот через исправников, архиереев, губернаторов, благочинных идея о необходимости в среде народа внутренне отличных от массы существ, упрощаясь в слоге и изложении, доходит до деревни, — и вот «приказываю я тебе» почтить Аким Иваныча как культурного человека, хотя он и кулак по нашему деревенскому, некультурному мнению.

Этих двух примеров, я полагаю, достаточно для того, чтобы понять всю важность и всю трудность затеянного было мною дела. Один уже пример Петра, возвращенного в лоно родительского дома и недовольного этим, говорит о том, что не худо бы прежде, чем благодетельствовать, спросить у деревни: точно ли нужно брать этих Петров? Но этот пример, как и последующий, главным образом доказывает только трудность разработки формы мужицкого органа. Вот почему, оставив мысль о мужицком органе, я решился представить просто мой дневник, заноса явления деревенской жизни в том виде и в том порядке, в каком они следуют день за днем. Привожу отрывок из этого дневника, касающийся первых дней осени.



Существеннейший признак осени – такой же грустный и унылый, как желтые листья леса, как грозные тоны, начинающие слышаться в порывах ветра, – есть, несомненно, появление в волостном правлении предписания уездного исправника о скорейшем взимании податей. – Странное дело! Несмотря на то, что все волостные правления только и живут изо дня в день, из года в год такими предписаниями уездного исправника, весть о том, что «пришла бумага насчет податей», производит на обитателей нашей деревеньки впечатление почти неожиданности и по тягости, по унылости едва ли не превосходит впечатления и осеннего воя ветра, и голых деревьев, и мокрых желтых листьев.

Дело в том, что в течение всей рабочей поры, начиная с апреля, мая и вплоть до уборки полей, то есть до первых дней осени, предусмотрительные руководители наши ни единым словом не тревожат крестьянина. – Ни становой, ни исправник, ни старшина, ни староста – никто решительно из имеющих власть не пикнет, не заикнется ни о каких деньгах, – вдруг, точно по мановению волшебного жезла, замирают грозные крики: «давай», «давай!» Всякое начальство притаивается, словно исчезает с лица земли, и обыкновенный (не «порядочный») мужик, для которого понуканье, дерганье и всякое тормошенье составляют, вследствие

долгой привычки, главнейшее и существеннейшее содержание жизни человеческой вообще, не видя этого дерганья и понуканья, начинает понемногу забывать о нем и незаметно отдается земледельческому труду. Надо удивляться, с какой детской наивностью предается он забвению ожидающей его катастрофы. – Точно забитый и замученный педагогами школьник, он, оставшись один, без наказаний и понуканий, во мгновение ока забывает все, что выдолбил, и все, что перенес от педагогов, забывает все это под впечатлением нескольких мгновений покоя. Нельзя не сознаться, что мера эта благодетельна; она поощряет рвение крестьянина к труду, который не мог бы быть столь успешным, если бы происходил под непрерывным давлением одного и того же «давай!» Работа его идет втрое, вдесятеро лучше. Его поддерживают всевозможные планы, всевозможные фантазии, которые лезут в это время в его забывчивую голову: вот он продаст хлеб, купит лошадь, телушка за лето отходится как нельзя лучше – тоже деньги; вот уж он покрыл и поправил сарай, сшил себе и мальчишке новые сапоги – и так до бесконечности. Под влиянием этих планов и фантазий он бьет-ся пять месяцев как рыба об лед, вытягиваясь вместе с своей лошадежкой из последних сил; и к концу лета, когда поля покрыты волнующимися пышными хлебами, он до того уже осваивается с своими несбыточными планами, что начинает думать о праздниках, предстоящих в августе и в сентябре, и совершенно не подозревает, что он уже в блокаде...

Едва он свез с поля и смолот первый сноп нового хлеба, как бомбардирование открывается внезапно со всех пунктов и с непомерной настойчивостью. И в самом деле: необходимо сразу выбить всевозможные фантазии, необходимо с корнем вон, как гнилой зуб, вырвать эти грезы о телушке, чтобы облегчить нелегкий переход от розовых планов к горькой и пасмурной действительности. И, надо отдать справедливость осаждающим, энергия их выше всякой похвалы. Положительно можно сказать, что не успел слепинский мужик довести первого мешка нового хлеба с мельницы домой, как в ту же самую минуту разнеслась по деревне весть о «бумаге насчет податей». Оказалось, что еще вчера, в одиннадцать часов вечера, старшина посылал за старостой и объявил ему о строжайшем предписании. И мгновенно по всей округе, точно холодный и упорный осенний ветер, поднимающий холодную пыль и уныло завывающий в печных трубах, загудела по деревням унылая весть о податях – о страховых, о земских, о поземельных... Летние фантазии разрушались в самое надлежащее время, именно когда еще почти весь хлеб, хоть и сжатый, стоял в поле, а яровое наполовину и не было даже убрано. Предписания одно за другим, точно шрапнели, не давая опомниться, громили округу без умолку, настигали слепинского мужика на всех путях. Пошел он в кабак – хватать, у самого носа разрывается граната, являясь в виде сельского старосты:

– Будет деньги-то в кабак таскать! Подати несите... бумага

вон!

– И всего-то гривенник несу... два стаканчика...

– Всё давайте, что есть!

– Мы с нашим полным удовольствием, да какие это деньги – гривенник!..

– Все меньше будет! Знаю я ваше прекрасное удовольствие... зачну вот продавать...

– Храни бог!.. авось...

Мужик идет в кабак, и колом влезают ему в горло оба стаканчика.

– Эй-эй! – кричит, между прочим, староста, настигая другого случайно встретившегося слепинца: – подати несите! Скажи своим, чтобы беспрременно... бумага – боже мой!

– Ладно!

– Чего ладно! Сейчас давай, сколько есть!

– Да нетути сейчас-то.

– Когда ж будут? – все нетути да нетути. Когда ж будут-то?

– Авось...

– Авось! А мне за вас в темной сидеть?.. Чтоб беспрременно несли – вот что!

– Принесем....

– Да, беспрременно несите! Много вам прощали – ноне «поступать» станут.

Слово «поступать», очевидно, очень значительно и для старосты и для мужика.

– Что ты! – говорит он испуганно: – господь с тобой, авось

поплатимся...

– Ну то-то! Помнить это надо!

Говоря такие страшные слова и суля такие угрозы, сельский староста, как мужик доподлинно знающий невозможность в данную минуту напирать на крестьян «всурьез», потому что из этого ничего не выйдет, кипятится и свирепствует без всякого серьеzu, просто исполняя предписание. Ввиду такой внутренней непрочности идеи о необходимости взносов, непрочности, живущей даже в самом сельском начальстве, главнейшем добывателе наших сотен миллионов, необходимо вести осаду с непоколебимою настойчивостью; необходимо день и ночь долбить циркулярами и телеграммами исправников; необходимо тормозить станowych, необходимо не давать опомниться ни старшинам, ни старостам, чтобы все это полчище финансистов постоянно стояло на ногах и чтобы оно, внутренне сознающее непреодолимую трудность предстоящей финансовой операции, выкинуло бы, под влиянием бомбардировки, всякие мысли об этой трудности и сосредоточилось бы только на требовании. И вот почему, едва смолот первый сноп, – крик «подати! подати!» начинает гудеть над деревней неумолкаемо.

– Подати несите! Несите подати! – как-то угрожающе (хотя и кротко) советует старшина, появляясь на деревенской улице, появляясь как бы случайно, по пути в лавку, но в сущности именно только за тем, чтобы укрепить в населении главную идею времени. Все мимоедущие и мимоидущие вла-

сти, которые в течение лета куда-то запропастились, а если и показывались на деревенских аванпостах, то с совершенно мирными намерениями, как, например, с вопросами о том, что «много ли, мол, нынче ягод? много ли будет осенью свадеб?» и «не скучно ли, мол, тебе, Авдотья, одной, без мужа-то?» – все это кроткое, любезное и милое сословие явилось теперь в совершенно ином виде. Никто из них не пройдет, не проедет, чтобы не остановиться или не остановить своих лошадей перед первым встречным мужиком и не сказать ему торопливо и решительно:

– Скажи старосте, чтобы непременно подати... Слышишь?

– Слушаю-с!

– Непременно! Слышишь ли? Неп-ре-мен-но!..

– Слушаю-с!

– То-то слушаю-с! Непре-ммменно!

Или:

– Ты староста?

– Я-с!

– Как подати?

– Помаленечку идут...

– Как помаленечку?.. Что такое «помаленечку»?

– Мы с нашим с полным... кабы ежели бы...

– Что такое – «кабы ежели»? Какие такие «ежели»? Никаких «ежели» тут нет и быть не может. Слышишь?

– Слушаю-с!

Благодаря такой тактике недели через две-три непрерывной осады слепинские мужики окончательно забывают всевозможные летние фантазии и перестают понимать в себе и вне себя что-либо другое, кроме необходимости платить подати.

Вот «Общее обозрение» существеннейших признаков первых осенних дней в деревне.

Осаждающие, как я уж упомянул, несмотря на точность, аккуратность и немедленность исполнения предписаний, не только «серьезно» не питают лично к осажденным враждебных чувств, но, напротив, если дело дойдет до разговора о предстоящей кампании, не замедлят высказать вам прежде всего о неуспешности предпринятой ими осады, даже почти о полной ее бесполезности. Всякий палит исправно, настойчиво, неумолимо, но знает, что толку будет мало и что «ежели бы не семейство» или что-нибудь в этом роде, что заставляет человека палить из-за молочишка, так бы отряс прах от ног и ушел бы куда-нибудь к другому, более мирному делу.

– Да неужели вы полагаете, что на мне нет креста? – восклицает где-нибудь в интимном кругу и в минуту откровенности кто-нибудь из числа лиц, ежедневно рассылающих по всем концам уезда «строжайшие предписания» о взыскании «без послабления и снисхождения». – Неужели вы полагаете, что у меня вместо головы ведерная бутылка или кирпич? Вот не угодно ли, прошу вас покорно, прежде чем осуждать...

И вслед за тем из бокового кармана военного сюртука торопливо вытаскивается целая кипа бумаг.

– Вот-с! Сделайте одолжение.

Длинная бумага есть объяснительная записка в ответ на строжайший выговор, полученный уездным понукателем от



понукателей губернских. В записке говорится, что если не собрано за первую треть 16 744 руб. с копейками, то это происходило не от личной бездеятельности понукателя или нерадения, а от других причин, которые он и считает долгом изложить перед начальством, дабы оказаться чистым со стороны подозрений в нерадении. В доказательство своего рвения он приводит примеры необыкновенных, поистине героических подвигов: он переплывал на утлой ладье реки, бывшие еще в полном разливе, застревал в зажорах, сажал в темную сельских старост и т. д. Но при всей своей неустрашимости, при всей своей готовности не мог ничего сделать с непреодолимыми фактами действительности: с бесхлебьем людей, бескормицею скотов, «из которых, например, овцы совершенно облезли, а коровы до того отощали, что на бывшей ярмарке он собственными глазами видел таких, которые не могли стоять на задних ногах, а сидели, словно зайцы, на собственном своем хвосте». И не случайность какую-либо, вроде неурожая, или падежа скота, или эпидемии, винит он в существовании этих неодолимых для успешности взимания обстоятельств, хотя и эти случайности без внимания не оставляет, но видит «причину в корне, а именно»... Далее, конечно, идет то, что известно всем и каждому: разделы, баловство, пьянство. Дойдя до этих слов, вы готовы возвратить рукопись автору; но автор останавливает вас, говоря:

– Читайте, читайте дальше!.. Там есть, есть настоящее!.. Это ведь только для отводу... Там дальше я ввернул втихо-

молку... Не беспокойтесь, будьте покойны, извольте читать!

И действительно, в пышном букете тщательно собранных народных пороков замечается тщательно спрятанный репейник: идет речь о наделе, о доходности его и о соразмерности...

– Всё знаем-с! Уж говорено! Писано-переписано... И что ж за все это? – кроме выговоров да распеканий ничего не видишь и не слышишь... В нынешнем году я получил уж пять выговоров простых да с полдюжины строжайших: – так тут перестанешь рассуждать... Нет, батюшка, кабы не семейство...

И такие речи слышатся по всей длинной лестнице понукателей, от высших до низших. Везде понимание и гуманизм, всегда, впрочем, довольно счастливо завершающийся на деле непреклонностью. Низший понукатель деревни, сельский староста, так тот даже разъясняет вам самые мельчайшие причины неуспеха осады. Не дальше как сегодня, то есть в тот самый день, когда мне пришло в голову завести дневник, я зазвал к себе с улицы нашего сельского понукателя и, коснувшись в разговоре вопроса дня, слышал от него самые рациональные и обстоятельные суждения.

– Много ли набрали, Михайл Петрович? – спросил я его. Михайл Петрович засмеялся и махнул рукой.

– И не поминайте!.. За два-то дня – четыре с чем-то рубля со всех семидесяти домов... Один только мужик дал рубль, и то спасибо, что я его настиг на мосту – с работы шел: плот-

ник он, с расчетом, — а то всё гривенник, двугриденный, полтинник... Вот тут вам и собирай! Покуда выберешь с них двадцать-то пять рублей...

— Что ж вы будете делать?

— Да что с ними делать-то? Что-нибудь-то принеси, сделай милость, и то спасибо. Да откуда ему взять, сами вы посудите? Доходу у него всего-навсего пятьдесят рублей, это уж если весь урожай продать, а взносу — двадцать пять; да ведь надо сапоги, свечку иной раз, соль, да мало ли что — все из этого.

Деревенский понукатель развивает картину крестьянских нужд в мельчайших подробностях и заканчивает ее вопросом:

— Ну что ж, помилуйте, с них взять? Откуда он возьмет, когда у него ничего нет?

И, повергнув вас в грустное раздумье, тоже довольно грустным тоном прибавляет:

— Ничего не поделаешь! До покрова как уж нибудь, хоть по гривенникам, буду принимать, ну а уж с покрова, видно, посурьезней придется.

— То есть как посурьезней?

— Да что же мне-то делать? Придется так, что возьму шестерых понятых да пойду по деревне с одного конца до другого с описанием... У нас на это есть инструкция, сказано — не дожидаться ни станового, ни что... Что делать? и рад бы — придется!

И поверьте, что пойдет, опишет и предоставит. Кроме земли, у крестьянина есть лишняя овца, лишняя телушка... Вот они-то и ответят. И ведь все понимают дело отлично, верно – и все-таки продолжают поступать без всякого «послабления».

Глядишь-глядишь на все это, и так-то тяжело становится на душе...

Нет никакого сомнения в том, что жизнь, под беспрерывным долговременным влиянием теории «гуманной беспощадности», не прошла бесследно для обывателей деревни. Есть у нас умышленные «упорщики», неплательщики, не покоряющиеся требованиям осаждающих, не желающие остаться довольными решением волостного суда о наказании двадцатью ударами за неплатеж податей – участь большинства отхожей молодежи, но в общем такие люди значат мало и деморализующего впечатления не производят. У нас, в Слепом-Литвине, можно указать только на двух такого рода упорщиков.

Один из них – старый старик, остаток старого крепостного права, человек, ропщущий на новые порядки, на то, что волю дали, дали волю всем: мужикам судить своего брата, молодым ребятам курить табак и т. д. Но ожесточение этого человека очень легко объясняется тем обстоятельством, что он стар, ветх, что никаким образом по закону его невозможно высечь... Все его ожесточение выражается только в том, что он кобенится платить деньги до последней возможности. «Погодишь!» – говорит он старосте, и староста годит, потому что знает стариковский нрав и потому что нет в деревне человека, который бы не приходился старику родней. Кроме того, семья старика – самая большая в деревне и самая со-

стоятельная; старик и права-то уж не имел бы распоряжаться делами этой семьи, но уступить этого права он не хочет, отбирает от детей деньги и держит их в повиновении капиталом, которым по смерти благодетельствует всю семью. Уважение к этому капиталу сильно и во властях предрержащих (я говорю о сельских): и вот почему старик может кобениться и оттягивать деньги до последней возможности. «Попробуй-ко, коснись!..» – ставит он на вид всем и каждому, подразумевая под словом «коснись» – розги. В конце концов он все-таки, с ругательствами «подавись» и проч., платит деньги и уничтожает таким образом всякий смысл своего упорства. Другой упорщик, – также человек, не производящий на слепинцев никакого вредного впечатления, – синильщик Петр. Это человек озлобленный и для слепинцев несимпатичный. За подделку пятака серебром он высидел шесть лет в остроге, и общество, вновь принявши его, смотрит на него с некоторою боязнью: человеку такому ничего не стоит, думает оно, поджечь деревню, разорить всех дотла; слава богу, сидел в остроге – не велика беда и еще посидеть. Общество не позволяет ему даже выстроить избу, а постановило, что если он хочет жить в Слепом-Литвине и заниматься красильным мастерством, то обязан жить на квартире, то есть находиться постоянно под наблюдением постороннего глаза. Негодуя от всей души на свое положение, Петр старается пользоваться им, поддерживая грубостью со всеми убеждение в своей жестокости. С этим человеком разговоры о по-

дателях обыкновенно ни к каким существенным результатам не приводят.

– Ты что ж денег-то не несешь! – мимоходом адресуется к Петру староста.

– Каких денег? – ошетинившись и сверкнув глазами, не говорит, а рычит Петр. Он стоит на крыльце с каким-то синим ведром и при словах: «каких денег?» делает этим ведром такой жест, что староста отступает несколько шагов назад.

– Каких тебе денег? – повторяет Петр, относя руку с ведром назад и двинувшись вперед на один большой шаг.

– Казенных денег! – тоже орет, отступая однако, староста.

– Чево-о?

– Денег! вот чего! Слышишь, ай нет?

– Ты чего горло-то дерешь?

– Ты деньги-то неси, вот что!

– Горло-то ты чего, говорю, дерешь?

– Я говорю – деньги подавай!

– Как-кие?

– Такие!

– Какие деньги?

– Тьфу ты, осторожная твоя душа! – произносит староста и торопливо идет прочь.

Петр некоторое время молча смотрит ему вслед, сверкая глазами, затем с озлоблением выплескивает из ведра синие помои и победителем уходит в свою хибару.

Такого рода неплательщики никоим образом не могут поколебать в обыкновенном слепинском обывателе, обыкновенном сером мужике, полнейшую, безграничную уверенность в том, что нести деньги «надо». Иван Афанасьев, с которым читатель знаком по предшествовавшему отрывку, – образец такой упорной веры в «надо». Наслушавшись речей старосты, познакомившись, благодаря ему, с настоящим положением слепинских платежных сил, я завел с ним речь по этому предмету при первом же свидании...

– Ну, как подати, Иван Афанасьич?

– Надоть!

Иван Афанасьич вздохнул.

– Чем же вы отдадите?

– Как-нибудь, по силе возможности!

И, помолчав, прибавил:

– Надоть!..



Не знаю, в какой отдел моего мужицкого обозрения девать маленький деревенский эпизод, которым ознаменовались первые осенние дни в Слепом-Литвине, или, вернее, первый куль нового хлеба.

Была темная, дождливая осенняя ночь; неумолчно и обильно лил дождь, при порывах ветра начинавший «сечь» в окна и шаркать по крыше... Вся деревня давным-давно спала мертвым сном; был уж второй час ночи, пора самая глухая, непробудная: ни одного живого человека не встретишь на ста верстах кругом. В такую-то пору сидел я за книгой. Какой-то стон и оханье под окном остановили меня. «О-о-о-о!...», «О-о-о-о!...» – слышалось мне, когда я прислонился к стеклу окна...

– Мих-хайла-а! – изо всей мочи, напрягая последние истомленные силы, прокричал стонущий человек и опять устало заохал.

– Кто тут? – приотворив окно, спросил я.

– Ох, родимый, мальчишку ищу... с отцом поехал – ни отца, ни мальчишки... И что случилось!.. о-ох-ох-ох!

Это была женщина.

– Куда ездил-то он?

– На мельницу, родной, – молол.

– Ты была на мельнице-то?

– Была, была... нетути, уехали, да вишь... до дождя... Хожу, ищу с коих пор... Видно, что недоброе случилось.

– Теперь ничего не найдешь, темно!

– О-ох, не найду!..

Этот разговор разбудил моих сожителей, которые кое-как уговорили женщину переночевать в кухне или погодить до свету. Измученная, она было согласилась, вошла в кухню, присела, охая и стеная, но не осталась, несмотря ни на что... «Не дома ли? – твердила. – Может, и дома... Куда им деться? Некуда... Нет, недоброе... Ох, худое, худое...» И наконец-таки ушла. «Ми-хайло-о!..» – слышался ее голос, изда-дека доносимый ветром.

Чем свет по деревне разнеслась недобрая весть: на рассвете крестьянка нашла своих, но в каком виде! Муж валялся на поле, верст за десять, и спал пьяный; в стороне от него паслась высвободившаяся из упряжки лошадь, а под телегой и под мешками с новой мукой лежал мертвый мальчик...

Как случилось это несчастье? Никто путем рассказать не мог. Разбуженный отец только с ужасом тарашил глаза и меньше всех знал, что такое с ним случилось. Он помнил только, что вчера поехал на мельницу, что взял с собою шестилетнего сынишку (все человек: подержит лошадь, сумеет сказать «тпру» в то время, когда отец будет на мельнице). Помнит, как он радовался, таская мешки новой муки... Помнит, как подъехали дядя Егор да дядя Пахом; ехали они со станции и везли ведро хорошего вина. «Ай новина?» – спро-

сил Егор. «Она самая!.. – Никак вино везешь?» – «Вино!» – «Дай стаканчик, я тебе новинки отсыплю». – «Что отсыпать, давай мешок-то – пей!» – «Так уж тогда давай всей компанией выпьем, новину обмоем...» Выпили по стаканчику, по другому, по третьему... «а тут и не помню». Не помнит также ничего и дядя Егор, и дядя Пахом тоже чуть-чуть что-то домекает... Помнится ему, бытто мальчишки и не было в телеге... «Ежели б было, авось бы заметили, не ввалились бы в телегу целой гурьбой песни петь...» – «Господи помилуй! уж неужто мы не видали его да навалились и задавили?...» – «Царица небесная!» – «Да не спал ли мальчик-от?» – «Спал, спал и есть!» – вспоминает отец. «Как же это, господи?» – «Вино-то дюже забрало!.. Вино хорошее, вино, надо сказать прямо, первый сорт!» – «Много ль ты его выпил-то?...» – «Да господь его знает... дядя Егор ни бутылки, ни муки не привез, да и то очутился вместе с телегой неведомо где...»

Идут толки, расспросы; но никто путем не знает, как случилось это несчастье. Кто и когда свалился из телеги, как, кто и где очутился? Раздавили ли мальчика люди или мешки и телега? Всякий помнит только стаканчики, а потом ничего и не помнит – потому вино дюже хорошо попало. А мальчик лежит мертвый на лавке, и белым холстом покрыты его изуродованные члены!.. Вчера он еще бегал, играл в лошадки, в воров, то есть ловил вора, вел его в арестантскую, кричал: «отдай деньги!», а теперь вот – мертвый... Как? за что? Сразу, бог знает за что, бог знает почему, свалилась на лю-

дей беда, истинная деревенская беда, которая бьет, как гром, никому ничего не объясняя. И пришиблен человек, да как пришиблен! Разбита, как дерево молнией, мать, ошеломлен и в глубине своей совести заклеямен ощущением ужасного преступления отец, простой, серый, работающий мужик. Есть ли какая-нибудь возможность распутаться, разобрать что-нибудь в этом глубоком несчастье всему этому несчастному народу?.. Облегчит ли кто-нибудь эту бесконечную боль матери, непостижимый ужас отца? «Вино дюже крепко!» – может только сообразить этот несчастный человек во всей массе нахлынувшего на него горя.

Целый день надо всей деревней, не говоря о семье маленького покойного, висело ощущение неразгаданного несчастья, которое всякому говорило, что есть над всеми что-то беспощадное, что может грянуть на нас неизвестно когда и разнести вдребезги.

Наконец пронеслась весть: «Становой!»

И всем стало легче... Хотя кто-нибудь покончит с этим тяжелым недоумением. Так, сам по себе, только будешь думать и мучиться, мучиться и думать и все-таки ничего, ровно ничего не придумашь. Становой взял лист бумаги и написал протокол, в котором была смерть от задавления телегой. Понятые подписались и разошлись по домам. Дело конченное. Далее мыслей начальства не приходится распускать темные мысли мужицкие – не к чему...

Мальчишку зарыли; и вот из деревенской девушки, из де-

ревенской молодухи образовалась деревенская женщина с разбитой грудью, с угнетенным выражением лица и с сознанием, что нет на свете ничего, кроме муки мученской... А из парня и работающего отца вышел мужик, молчаливый в поле, молчаливый дома, снимающий молча шапку перед каждым тарантасом и издали сворачивающий с дороги в грязь, в лужу от всякого встречного: всякий встречный лучше его, всякий имеет право идти по дороге, тогда как он серый мужик – «суконное рыло»!

При всеобщей заботе о податях крестьяне невольно должны обращать особенное внимание на всякое явление, в глубине которого скрываются деньги. Ввиду этого слепинские жители с особенным интересом ожидали приезда врача воспитательного дома, чтобы разузнать, когда им будут выданы свидетельства на получение десяти рублей за последнюю треть года. Свидетельства за предшествующую треть года были заложены давным-давно и забраны – у кого в лавке мукой, солью; у кого, с уступкой конечно, отданы ростовщикам. Эти новые свидетельства, деньги по которым получают в конце трети, ожидаемы были также для немедленного залога в лавку или ростовщикам...

В первых числах сентября неожиданно приехал доктор и остановился у меня, так как в нанимаемом мною доме – он узнал от лавочника – есть большая, удобная комната. Никогда, или по крайней мере очень, очень много лет, не видал я такого олицетворения русского чиновнического типа. Поставленный в необходимость исполнять неисполнимое (возможно ли что-нибудь сделать одному человеку, с аптечкой в полторы квадратных четверти, для нескольких сот детей, разбросанных на громадном пространстве целого уезда), этот человек, как и всякий русский чиновник, не имеющий силы оторваться от жалованья, создал из своего дела

нечто поистине национальное, то есть дела он не делал, потому что не мог, но беспрерывно мучился (или показывал вид, что мучается) и мучил окружающих, подвластных ему людей, запутывал себя и других в какой-то паутине всяких вздоров, запутывая до помрачения ума и сам уставая при этом до того, что у него «пересыхало горло», и до обычной фразы в конце концов:

– Вот наша собачья жизнь! Если бы не семейство, – и т. д...

Битых два часа этот «служащий» человек орал на собравшихся по его призыву баб с ребятами, не сказав им ни единого слова дела, потому что такие слова не привели бы ровно ни к чему.

– Да ты говори путем! – часто слышалась бабья речь во время его монологов.

– Я вам двадцать тысяч раз говорил... довольно с меня!.. У меня и так голова поседела от вашего безобразия!.. Сви-ньи вы! – вот я вам что скажу раз навсегда. Если бы вы как следует исполняли то, что вам приказывают, тогда дело было бы другое...

– Кажись, мы стараемся...

– «Кажись»!.. Вам все, дуракам, «кажись»!.. А вот как напишу ревизору, тогда и узнаешь кузькину мать. «Кажись»!.. Ты что?

– Третий месяц пошел...

– Кто ты такая?

– Аксинья...

– Какая Аксинья?

– Маркова!.. – заговорили несколько голосов.

– Что ж тебе нужно?

– Билетик бы...

– Какой билетик? За что? Откуда?.. Что она такое говорит?

Баба молчит.

– Что у ней, язык, что ль, отнялся?

– Она от Марьи ребенка приняла... Третий месяц держит задаром, просит билет на осень...

– Как она смела взять без позволения?

– Там прописано в билете...

– В каком билете?

– А в Марьином.

– Что это значит – «в Марьином»? Что такое прописано? Тебе пропишут порку, а ты пойдешь ко мне? Вам будут там прописывать, а я тут с вами толкуй? Нет уж, покорно благодарю!.. Довольно с меня и того...

И так далее, все в том же роде.

Этому человеку необходимо было терзаться самому и терзать других по целым часам, прежде нежели он отливал в пузырьки баб несколько капель ревеню или прежде нежели объявлял какой-нибудь Аксинье, что она не получит за три месяца ни копейки, так как в билете именно это и прописано и ничего другого там нет и не было. Пробушевав несколько



часов, намучившись и намучив других, нажаловавшись на начальство, на свою каторжную жизнь, похвалившись своими благодеяниями, своими хлопотами, врач, наконец, уплелся в соседнюю деревню, оставив баб в недоумении. Точно кто-то взял каждую за шиворот, ни с того ни с другого наорал, растрепал, оглушил и выпихнул невесть куда.

---

По отъезде доктора между бабами произошел (когда они очнулись) разговор, давший мне возможность внести в мой дневник несколько слов, касающихся деревенской педагоги.

Бабы кучей стояли под моим окном и некоторое время были в полном оцепенении.

Наконец Аксинья Маркова очнулась и произнесла:

— Тоже билеты дают... а кто их там разберет, прости господи...

— Ты бы писарю дала прочесть-то?..

— Да читали уж... Хоть читай, хоть нет, ишь он... ровно цепная собака!

— То-то читали. Кто читал-то?

— Да Федюшка Корзухин читал...

— Нашла кому!.. Что мальчишка знает?

— Ведь небось учут их. Шут их знает, чему их там учут-то...

– На-ашла!.. Вот тебе и начитал на шею...

– Да что мне? Пойду да швырну его (ребенка) Марье, пускай берет назад, а мне отдаст за три месяца... Шут с ей!

– И то-о!.. Бог с ним совсем... Что она? Нешто так делают? Кабы свой бы...

Долго бабы тараторили о своих бедах, наконец ушли. Меня заинтересовал Федюшка Корзухин, которого я знал. Это – мальчик лет тринадцати, и, как мне казалось, умный, грамотный. Отец его хвалился даже, что «хоть сам от безграмотства пропадаю, ну только уж сынишку произведу...» И вот такой-то Федюшка поверг бабу в большое горе именно своей безграмотностью.

При первой встрече я спросил его:

– Это ты, что ль, Аксинье билет-то Марьин читал?

– Мы.

– Ты что ей там прочитал-то?

– Что писано.

– Нет, не то, что писано.

Я рассказал ему всю историю. Оказалось впрочем, что и отец и Аксинья уже намылили ему голову.

– Как же это ты?

– Я читал... все...

– Как же ты не понял, что написано? Разве там много напечатано?

– Не... не много...

– И ты не понял?

– Не...

– Долго ли ты учился?

– Три зимы...

– Плохо, брат!

Мы расстались.

Под впечатлением этого разговора иду к учителю, с которым я был уже давно знаком.

По случаю летнего времени учитель перебрался из маленьких комнат своей квартиры при училище в большую классную комнату. Я застал его за таким занятием: он ходил на четвереньках по какой-то разноцветной, как мне показалось, простыне и был окружен чашками с клеем, обрезками разноцветной бумаги, тряпками и проч.

– Что это вы такое делаете?

– Вот вензель... «А» – видите... Аким Иванычу в день ангела.

– Что это вы всё Аким Иванычу да Аким Иванычу?

– Нельзя... Хороший человек – раз, а во-вторых – член. А я ведь еще землемерием занимаюсь при съезде, в летнее-то время; он – мой начальник, вот я и желаю ему...

Учитель шмыгнул ладонью по носу, полюбовался буквою А, почти уже написанной на простыне, и продолжал:

– Видите, какой у меня план... Я взял за женой в деревне Болтушкине два дома. Теперь они отдаются за бесценок, вот я и хочу перейти туда. Тогда у меня в одном доме школа, в другом верх – сам займу, а низ – под кабак сдам. Ого-

роды свои. Видите? Жалованье то же, что и тут, а погляди-те-кось, сколько расчёту-то... Ну, а Аким-то Иваныч меня не пускает, потому я хором здесь дирижирую... не хочет пустить... Говорит: «тогда от съезда откажем». Ну вот я ему и хочу сюрпри-зик... Хе-хе-хе... авось!

Добродушно радовался учитель своей штуке и своему плану и долго потом расписывал мне, сколько у него останется лишку, если он перейдет в Болтушкино.

– Капуста, например, или репа, морковь там, то есть все, все, все, все – свое!..

Говорил он с восторгом, поводя рукой, как бы обозначая какие-то широчайшие горизонты, переполненные репой, морковью, всем, всем...

Долго мы толковали на эту тему; наконец, уходя, я сказал учителю:

– А вот ваш один ученик какую штуку отмочил... – И рассказал ему историю о Федюшке, который, учась три года, не мог понять прочитанного.

– Э, батюшка, – добродушно проговорил учитель: – хотите вы от них!.. Подите-ко, обломайте их, чтоб они понимали-то... И-и! Всех дураков не переучишь! Слава богу, хоть на экзаменах-то не срамят!.. И этого-то подите-ка добейтесь от них... Провалят раз-другой – и остался без хлеба!.. Хоть на экзаменах-то выручают – и то спасибо, а вы там! Посмотрите-ка, как наедут к нам из города надзиратели, да смотрители, да попечители да как начнут загвазживать разные во-

просы, один хитрей другого: так тут только держись за «грядки», точно на перекладной мчат... «Что такое святой дух?», «Почему заутреня раньше обедни?» – то есть не приведи бог! «Что такое святой дух»? Позвольте узнать – что такое? Скажи: третье лицо святых троих – это им мало! Надо и им чем-нибудь отличиться – не даром они ревизоры. Озадачить нашего брата для них первое удовольствие... Ну и налаживаешь ребят на эти фокусы...

– И отвечают?

– У меня-то? Поп-пробуй-ка у меня!.. Уж ежели *я сам* кого вызову – уж тот ответит... Конечно, со всеми не сладишь; где такую ораву оболванить одному: ведь это нешто люди? – дрова, поленья... больше ничего! Ну, а уж будьте покойны. Мне нельзя как-нибудь: у меня, батюшка, семья на плечах!

Возвращаюсь к повествованию о таких явлениях осенних дней, в которых какую-нибудь роль играют деньги. К сожалению моему, таких явлений с «деньгами» в настоящую минуту в деревне крайне мало. Настоящая осень с охотами и наездами господ не начиналась, а других мало-мальски определенных или наверное ожидаемых подспорий что-то не видеть. Впрочем, как ни странно это покажется, но к числу таких подспорий можно до некоторой степени причислить и войну, не в тех, конечно, видах и формах, в которых она является пред столичным читателем, а в тех, в каких доходит она до деревенского мужика. Уже было говорено, что всякое мероприятие, или столичная реформа, или столичная идея, дойдя до деревни, превращается в простое требование денег. В форме требований то людей, то подвод, то лошадей приходит в деревню и война; но, уводя людей, она аккуратно и хорошо платит за скотину. Не один из слепинских мужиков спрятал сотенную бумажку благодаря конской повинности, и есть такие, кому выпал на долю барыш.

Здесь следовало бы закончить этот отрывок из деревенского дневника, так как осенние дни не дали до сей минуты еще ничего достойного быть отмеченным, если бы, опять-таки неведомо откуда, из-под совершенно определенного факта конской повинности не вылезал на мои глаза цепляющий-

ся за него факт неопределенной, темной глубины, самого дна деревенской жизни... Именно: у старосты Михайла Петрова (с которым читатель познакомился в начале этого отрывка), у этого умного, знающего деревенскую подноготную человека, забраковали на приеме лошадь. Михайл Петров огорчился; он уж наметил хорошенькую лошадку и норовил приобрести ее на те деньги, которые бы пришлось получить ему с ремонтера. Лошадь подходила под мерку, а между тем операция не удалась только потому, что холка у этой лошади была натерта в одном месте. Негодуя на эту холку, Михайл Петров вспомнил, что натертое место не зарастает у лошади уже третий год, стал размышлять о причине такой странности... Не размышлять же обстоятельно о натертой холке он не мог потому, что она лишила его денег (денег!) и разрушила планы. И неведомо из какой тьмы тем его осенило воспоминание о том, что лошадь эта куплена, три года тому назад, у того самого Петра-синильщика, с которым читатель также познакомился в этом отрывке.

«А ведь что-нибудь это значит, – подумал Михайл Петрович и немедленно же вспомнил, что год тому назад волк зарезал у одного крестьянина корову, купленную также у Петра... – Что-нибудь это не так! Ведь заживают же холки у других лошадей, ведь в одно лето зарастают так, как будто и натерто не было! – недоумевал он. – И потом, отчего волк не зарезал коровы; покуда она стояла на дворе у Петра, а сделал это тотчас, в тот же день, как попала к другому хозяину?»

Очевидно, что от Петра идет какое-то зло: там зарезана корова, тут не приняли лошадь – везде убыток, и все от Петра. Есть в нем что-то худое, недоброе; недаром он сидел в остроге и зол на деревню и норовит пустить красного петуха... Два такие убытка, и всё от Петра, представлялись Михайлу Петрову основательнейшими доводами в пользу того, что у Петра, или в Петре, или около Петра что-то нечисто... темно и недобро... Свернуть с пути таких подозрительных мыслей Михайл Петров не имел возможности, потому что ежеминутно его мучила мысль об убытке, о забраковании лошади, ежеминутно он должен был думать о том, что вся беда в холке, а от холки мысль переносилась на Петра, на то, что это – подозрительный человек, что это – острожник, а там само собой припоминалась корова, и от коровы опять к забравке и т. д. Петр невольно становился, в воображении практического, «понимающего» Михайла Петрова, центром, вокруг которого вращались мысли о неудаче, об убытке, о разрушенных надеждах... И фигура Петра – темная и без того почти никем достаточно не понимаемая – становилась еще непонятнее и темней... Не прямое представление чорта, а что-то близко подходящее к нечистой силе, к чему-то таинственному и злему, незаметно присоединилось к личности Петра в воображении Михайла Петрова.

– А что, староста, – сказал ему вечером несчастного дня один из деревенских мужиков: – что я хочу у тебя спросить... Петруха вот синильщик просит у меня на задворках



хатенку поставить... Как по-твоему: дозволено ли по закону его пустить?

Михайл Петров помалчивал, кряхтел.

– По три серебра сулятся платить на год... Всё – деньги... А мне что ж? Место не украдет...

– Н-не знаю!.. – таинственно сказал Михайл Петров. – Пустить – отчего не пустить; дело это мирское... а только что...

Староста покачал головой и прибавил:

– Человек-то он... не того... что-то бытто... нечистоват!

– Неужто ж он худое что думает? Чай и на ем крест есть? Я же ему уболаготворение делаю; неужто ж он мне-то уж что-нибудь?.. Ведь тоже побился на своем веку, должен оценить, что даю ему упокой... Ведь и он крещеный человек-то?..

– Так-то так... да не очень-то, говорю, вокруг его благополучно... Так мне вот бытто думается... А впрочем...

– Али что-нибудь?

– Да вот, примерно, хоть это как по-твоему будет?

И Михайл Петров рассказал про холку.

– Ведь три года – это, братец ты мой, тоже надо подумать!.. Опять вот у Мирона с коровой...

И с коровой историю рассказал Михайл Петров.

– Ведь уж что-нибудь же да означает это? – философским тоном продолжал Михайл Петров, видимо стараясь сам проникнуть в самую глубину тайны: – ведь уж есть же что-нибудь?

Мужик слушал и задумался.

– Не хомут ли? – робко возразил он.

– Хомут! А отчего ж у других и хомут натрет, а все зарастает? Отчего же тут-то тр-ри года, братец ты мой? Ну пушай и хомут, а корову-то почему же так? Ведь покуда у Петра была – ничего, а как только вот к Мирону... Н-нет, тут не очень чисто!

Задумавшийся мужик, не угнетаемый так сильно мыслью об убытке, как был угнетен староста, пробовал было возразить, что и с коровой, может, так, «случаем» вышло, но Михайл Петров опять затуманил его, говоря:

– Случаем!.. Ну, пушай так; ну, а холка-то почему ж? – ведь три года...

Тайна не только не выяснялась, но делалась еще таинственнее и запутаннее, тьма еще темнее... Оба – и Михайл Петров и мужик – чувствовали, что разобрать все это невозможно, и знали одно, что тут, в этой тьме, главное действующее лицо все-таки тот же Петр.

– Вот тоже, – крепко подумав, робко произнес мужик: – у Андреяна... Тоже Петр... стало быть, купил он, Пётра-то, у Андреяна овцу, а Андреяна лошадь пала... после того...

– Ишь ты вот! – воскликнул Михайл Петров. – Именно говорю тебе – не чисто!.. Вот погляди! Уж что же nibудь есть в эфтом случае, что вред один от него – и больше ничего... Как хочешь! По мне все одно, я препятствовать не буду, хочешь, отдавай место, хочешь, нет, а что есть тут худое – уж это помни ты мое слово!.. Чует мое сердце, что не без это-

го... А по мне – как хоть...

И мужик и староста чуяли, что все это, может быть, и не так. Но никак не могли решить: значат ли что-нибудь все эти холки, коровы и овцы или же ничего не значат?

«А ну как что-нибудь в самом деле?» – думалось – и ответа не имелось никакого...

– Что ж, Кузьмич? – спросил Петр крестьянина, у которого на задворках думал поселиться. – Сладили мы с тобой дело-то али нет?..

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.